

Николай Лесков

Чёртовы куклы



Николай Семёнович Лесков

Чёртовы куклы

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=174796

Содержание

Глава первая	4
Глава вторая	8
Глава третья	13
Глава четвертая	19
Глава пятая	24
Глава шестая	31
Глава седьмая	39
Глава восьмая	45
Глава девятая	50
Глава десятая	62
Глава одиннадцатая	72
Глава двенадцатая	78
Глава тринадцатая	85
Глава четырнадцатая	96
Глава пятнадцатая	100
Глава шестнадцатая	112
Глава семнадцатая	117
Глава восемнадцатая	124
Глава девятнадцатая	128
Глава двадцатая	134

Чертовы куклы

Главы из

неоконченного романа

Глава первая

В начале истекающего девятнадцатого столетия в одной семье германского происхождения родился мальчик необыкновенной красоты. Он был так хорош, что в семье его не звали его крестным именем, а называли его Фебо-фис или Фебуфис, то есть сын Феба. Это имя так ему пристало, что он удержал его за собою в школе, а потом оно осталось при нем во всю его жизнь. С возрастом оказалось, что при телесной красоте ребенок был осчастливлен замечательными способностями: он прекрасно учился наукам и рано обнаружил дар и страсть к живописи.

Отец Фебуфиса занимался крупными торговыми операциями и имел обеспеченное состояние. Он хотел, чтобы сын шел по его же дороге, и потому не был обрадован его художественными наклонностями, но мать ребенка, женщина очень чувствительная и поэтическая, не любила прозаических торговых занятий

мужа и настояла, чтобы Фебуфис получил возможность следовать своим художественным влечениям.

Мать питала несомненную уверенность, что сына ее ожидает слава, и она отчасти не ошиблась.

Отец уступил желаниям сына, поддерживаемым настойчивостью матери, и Фебуфис поступил в высшую художественную школу, сначала в том городе, где жили его родители, а потом перешел для усовершенствования в Рим, где на него вскоре же стали указывать как на самого замечательного из современных живописцев.

С течением времени на него обращали внимания больше и больше, и он вскоре стал пользоваться такою известностью, которая уже довольно близко граничила со славой. Были основания верить, что невдалеке его ожидает и настоящая слава. Характер у него был веселый, немножко заносчивый и дерзкий со старшими, но беспечный и общительный в сношениях с сверстниками, между которыми молодой человек имел друзей. Особенно дружны были с ним два молодых живописца, прозванные в своем кружке Пиком и Маком. Оба эти молодые люди были разных национальностей и несходного нрава, но находились в теснейшей приязни и никогда почти не разлучались. За то их и прозвали Пик и Мак – по детской игре: «где Пик, там Мак, – Пик здесь – Мак здесь, – Пика нет, и

Мака нет». Мак был крупный брюнет с серьезным, даже несколько суровым и задумчивым лицом, а Пик – розовая белокурая крошка, с личиком из тех, которых зовут «овечьей мордочкой». Мак был мыслитель – его занимали общественные вопросы: он скорбел о человеческих бедствиях и задумывался над служебными целями искусства, а Пик смотрел на жизнь в розовые стекла и отрицал в искусстве все посторонние цели, кроме самой красоты; притом Пик любил и покутить, но только, несмотря на его неразборчивость, он почти никогда не имел удачи, а Мак был само целомудрие и обладал всеми шансами на успехи, но он их не добивался. Пик находил почти всех женщин очень милыми, а Мак смотрел на всех равнодушно и все надеялся когда-нибудь увидеть одну заповедную женщину по своим мыслям. Она должна была обладать красотой духовной более, чем телесною, – во всяком случае она непременно должна была иметь над ним многие нравственные превосходства, особенно в деликатности чувств, в тонком ощущении благородства, чести и добра. Она должна была не отделять его от мира, как любят делать многие женщины, а роднить его с высшим миром. Если случалось, что Пику и Маку нравилось одно и то же, то оно непременно нравилось им с разных сторон. Им, например, обоим нравился Дон Жуан, и они оба оправдывали байроновского ге-

роя, но совершенно с различных сторон: Пик находил, что переменять привязанности очень весело, а Мак любил Жуана за то, что он открывал во всех любивших его женщинах обман и не хотел довольствоваться фальсификацией чувства. Несмотря на такое несходство во взглядах, Пик и Мак были, однако, очень дружны: Пик уважал в Маке его думы и даже заботы о служебных задачах искусства, а Мак любил в Пике искренность, с какою он восхищался каждым дарованием, кроме своего собственного. Оба они жили вместе, не богато и не бедно, как жило в то время множество людей их среды.

Фебуфиса отыскал Пик и сказал нелюдимому Маку:

– Пойдем посмотрим человека с большим дарованием.

– В чем же он проявил свои дарования?

– Прекрасно пишет.

– Что же он пишет? – спросил Мак.

– Все.

– Все?.. Это много. Пойдем и посмотрим все.

– Да, а вот ты можешь научить его выбирать лучшее.

Они пошли и подружались сразу.

Глава вторая

У Фебуфиса не было недостатка в фантазии, он прекрасно сочинял большие и очень сложные картины, рисунок его отличался правильностью и смелостью, а кисть его блистала яркою колоритностью. Ему почти в одинаковой степени давались сюжеты религиозные и исторические, пейзаж и жанр, но особенно пленяли вкус и чувство фигуры в его любовных сценах, которых он писал много и которые часто заходили у него за пределы скромности.

В последнем роде он позволял себе большие вольности, но грация его рисунка и живая прелесть колоритного письма отнимали у этих произведений впечатление скабрёзности, и на выставках появлялись такие сюжеты Фебуфиса, какие от художника меньших дарований ни за что не были бы приняты. С другой же стороны, соблазнительная прелесть картин этого рода привлекала к ним внимание самой разнообразной публики и находила ему щедрых покупателей, которые не скупились на деньги.

Таким образом росло его имя, и он получал такой значительный заработок, что уже не только не требовал никакой поддержки от родителей, но когда отец его умер и дела их пошатнулись, то Фебуфис уступил

свою долю отцовского наследства брату и сестре и стал присылать значительные суммы нежно любимой матери.

Пик всему этому шумно радовался, а Мак серьезно молчал, или, когда Пик очень надоедал ему своими восторгами и восклицал:

– О, до чего он может достичь!

Мак отвечал:

– До всего; я боюсь, что он до чего хочешь достигнет.

– Нет, с кем его можно сравнить?

– С Ван-дер-Пуфом, – отвечал Мак.

Ван-дер-Пуф было шуточное прозвание для тех, кто, подавал большие надежды с сомнительными последствиями.

Пик за это сердился и находил, что Фебуфис похож на Луку Кранаха, которого он очень любит и имеет некоторые его свойства.

– В чем же это проявляется? – спрашивал Мак.

– В даровании, в смелом характере и в уменье гордо держать себя с великими мира.

Мак отвечал, что лучшее уменье держать себя с теми, кто почитает себя великими мира, – это стараться не входить с ними ни в какие сношения.

– А если это нельзя?

– Ну, тогда быть от них как можно дальше.

– Э, брат, это сочтут за робость и унижение.

– Поверь, что в этом только есть настоящее величие, которое и они сами чувствуют и которое одно может уязвлять их пустую надменность.

– Ну, ты, Мак, ведь аскет. Этак жить, так нельзя будет сделать ничего достойного в мире.

А Мак, наоборот, думал, что так только и можно что-нибудь сделать самое достойное.

– А именно что?

– Прежде всего сберечь свое *достоинство*.

– Ты все о своем достоинстве – все только о том, что для себя.

– Нет, сохранение «достоинства» – это не «только для себя», а это потом пригодится и для других.

Студию Фебуфиса искали посещать самые разнообразные путешественники, но достигали этого не все, кто хотел. Он допускал к себе только или известных знатоков и ценителей искусства, или людей высокого положения, внимание которых ему льстило и которым он по преимуществу продавал свои картины для их музеев и палаццо, и всегда за дорогую цену. Но и при этом он давал еще много произвола своим художественным прихотям и капризам, очень часто доводимым им до непозволительной дерзости и пренебрежения к сану и светскому положению своих важных посетителей. Он продавал им часто не то, что они

желали бы у него приобрести, а то, что он сам соглашался уступить им, всегда с затаенным и мало скрываемым намерением заставить их иметь перед собою сюжет, который мог служить им намеком, попреком или неприятным воспоминанием.

Пик находил это прекрасным и художественным, а Мак называл фиглярством.

Произведения Фебуфиса были в моде, а притом же тогда было в моде и потворство капризам художников, и потому сколько-нибудь замечательным из них много позволяли. Люди самые деспотичные и грозные, требовавшие, чтобы самые ученые и заслуженные люди в их присутствии трепетали, сносили от художников весьма часто непозволительные вольности. Художников это баловало, и не все из них умели держать себя в пределах умеренности и забывались, но, к удивлению, все это им сходило с рук в размерах, непонятных для нынешнего реального времени.

Особенно они были избалованы женщинами, но еще больше, пожалуй, деспотами, которые отличались своею грозностью и недоступностью для людей всех рангов и положений, а между тем даже как будто находили удовольствие в том, что художники обращались с ними бесцеремонно.

Такое было время и направление.

Фебуфис как первенствовал между собратиями в

искусстве, так же отличался смелостью и в художественных фарсах и шалопайствах. У него было много любовных приключений с женщинами, принадлежавшими к самым разнообразным слоям в Риме, но была и одна привязанность, более прочная и глубокая, чем другие. Эта любовь была замечательно красивая бедная девушка-римлянка, по имени Марчелла. Она любила красавца иностранца без памяти и без всякого расчета, а он и ее ценил мало. Он был больше всего занят тем, что с успехом соперничал с модным кардиналом в благорасположении великосветских римлянок и высокорожденных путешественниц или, наскучив этим, охотно пил и дрался кулаками в тавернах за мимолетное обладание тою или другою из тамошних посетительниц. По первой категории подвиги его восходили до дуэлей, угрожавших ему высылкою из тогдашней папской столицы, а по второй дела кончались потасовками или полицейским призывом к порядку, что тоже тогда в художественном мире не почиталось за дурное и служило не в укор, а, наоборот, слыло за молодечество.

Глава третья

Сказано, что между любовными историями Фебуфиса была одна, которая могла его кое к чему обязывать. Это то самое, что касалось красивой и простосердечной римской девушки по имени Марчелла. Она была неизвестного происхождения и имела престарелую мать, которую с большим трудом содержала своей работой, но замечательная красота Марчеллы сделала ей большую известность. Не один Фебуфис был пленен этой красотой – молодой, тогда еще малоизвестный патриот Гарибальди на одном из римских празднеств тоже подал Марчелле цветок, сняв его со своей шляпы, но Марчелла взяла цветок Гарибальди и весело перебросила его Фебуфису, который поймал его и, поцеловав, приколот к своей шляпе. Гарибальди видел это, послал им обоим поцелуй и крикнул: «Счастливого успеха влюбленным!» Сближение их было очень быстро и оригинально. Расположения Марчеллы искали многие, и в числе претендентов на ее руку были и богатые люди: в числе таких был один пармезанец. Марчелла его не любила, но мать ее указывала на свое нездоровье и преклонные годы, требовала от дочери «маленькой жертвы». Марчелла согласилась на жертву и сделалась невестой, но под са-

мый день свадьбы пошла помолиться Мадонне и безотчетно постучалась в дверь Фебуфиса. Сюда привела ее нестерпимая любовь, с которой она напрасно боролась, и она вышла отсюда только через несколько дней и пошла к пармезанцу сказать, что уже не может быть его женою. Но Фебуфис, как многие баловни женщин, не хотел оценить лучше других поступок Марчеллы и скоро охладел к ней, как к прочим. Эта победа только вплела новый листок в его любовные лавры, а Марчеллу познакомила с чувствами матери. Пик был этим смущен, а Мак оскорблен и разгневан: он перестал говорить с Фебуфисом и не стал давать ему руку.

– Это слишком уж строго, – говорил Пик.

Мак на это не отвечал, но, встретив однажды Марчеллу, сказал ей:

– Как ты живешь нынче, добрая и честная Марчелла?

– Ты меня называешь *доброю*!

– И честною.

– Спасибо; я живу не худо, – отвечала Марчелла. – С тех пор как у меня есть дитя, я работаю вдвое и, представь себе, на все чувствую новые силы.

– Но ты исхудала.

– Это скоро пройдет.

– А ты мне скажи... только скажи откровенно.

– О, все, что ты хочешь... Я знаю тебя – в тебе благородное сердце.

– Согласись быть моей женой.

– Женою?.. Спасибо. Я знаю, что ты благороден и добр... Женою!.. Нет, милый Мак, я уже никогда не буду ничьей женой.

– Почему?

– Почему? – Марчелла покачала своею красивою головой и отвечала: – Я ведь люблю! Разве ты хочешь, чтобы между нами всегда был третий в помине? Нет, милый Мак, я любила, и это останется вечно. Полюби лучше другую.

Но благородство и гордость Марчеллы были подвергнуты слишком тяжелому испытанию: мать ее беспрестанно укоряла их тяжкою бедностью, – ее престарелые годы требовали удобств и покоя, – дитя отрывало руки от занятий, – бедность всех их душила. О Марчелле пошли недобрые слухи, в которых имя доброй девушки связывалось с именем богатого иностранца. К сожалению, это не было пустою басней. Марчелла скрывалась от всех и никому не показывалась. Пик и Мак о ней говорили только один раз, и очень немного. Пик сказал:

– Слышал ты, Мак, что говорят о Марчелле?

– Слышал, – отвечал Мак, сидя за мольбертом.

– И что же, ты этому веришь или не веришь?

– Верю, конечно.

– Почему же конечно? Ты ведь был о ней всегда хорошего мнения.

Мак отошел от мольберта, посмотрел на свою картину и, помедлив, сказал:

– Я о ней и теперь остаюсь хорошего мнения.

Теперь Пик помолчал и потом спросил:

– Разве она не могла поступить лучше?

– Не знаю, может быть и не могла.

– Значит, у нее нет воли, нет характера?

– Ты спроси об этом того, кто устроил испытание для ее воли и характера.

– Но она могла выйти замуж?

– Не любя?

– Хотя бы и так.

– Или... быть может, даже любивши другого?

– Ну, и все было б лучше.

– Может быть, только она тогда не была бы тою Марчеллой, которая стоила бы моего лучшего мнения.

– А теперь?

– Из двух зол она выбрала то, которое меньше.

– Меньше!.. Продать себя... это ты считаешь за меньшее зло?

– Не себя.

– Как не себя? Неужто этот богач ездит к ней читать

с нею Петrarку или Данте?

– Нет; она продала ему свое прекрасное тело и, наверное, не обещала отдать свою душу. Ты различай между я и мое: я – это я в своей сущности, а тело мое – только моя принадлежность. Продать его – страшная жертва, продать свою душу, свою правду, обещаться любить другого – это гораздо подлее, и потому Марчелла делает меньшее зло.

– Есть еще средство! – заметил Пик.

– Какое?

– Прекратить свою жизнь. Смерть лучше позора.

Мак сложил руки и сказал:

– Как? убить себя?.. Женщине убить себя за то, что ее бросили, и бросить на все мучения нищеты свою мать и своего ребенка?.. И ты это называешь лучшим? Нет, это не лучше. Лучше перенести все на себе и... Впрочем, иди лучше, Пик, читай уроки о чести другому, – мы о ней больше с тобою никогда не должны говорить.

– Хорошо, – отвечал Пик, – но ты мне никогда не докажешь...

– Ах, оставь про доказательства! Я никогда тебе и не буду доказывать того, что для меня ясно, как солнце, а ты знай, что доказать можно все на свете, а в жизни верные доказательства часто стоят менее, чем верные чувства.

В отношении Марчеллы Мак имел «верные чувства» и верно отгадывал, что двигало ее поступками. Другие о ней позабыли, – Фебуфис ею не интересовался. Он с той поры имел много других успехов у женщин, которые, помимо своей красоты, льстили его самолюбию, и вообще шел на быстрых парусах при слабом руле, который не правил судном, а предавал его во власть случайным течениям. В характере его все более обозначались признаки необузданности и своеволия. Успехи его туманили. Он становился капризен.

– Я хотел бы знать, чего он хочет? – говорил Пик.

– А я не хотел бы об этом знать, но знаю, – отвечал Мак.

– Чего же он хочет?

– Своей гибели, – и она будет его уделом.

Глава четвертая

Фебуфису было около тридцати лет, когда он сбыл с рук историю Марчеллы и потом в течение одного года сделал два безумные поступка: во-первых, он послал дерзкий отказ своему правительству, которое, по его мнению, недостаточно почтительно приглашало его возвратиться на родину, чтобы принять руководство художественными работами во дворце его государя; а во-вторых, произвел выходку, скандализовавшую целую столицу. Жена одного из иностранных дипломатов при папе уделила Фебуфису какую-то долю какого-то своего внимания и потом, – как ему показалось, – занялась кардиналом. Фебуфис вскипел гневом и выставил у себя в мастерской самую неприличную картину, вроде известной классической Pandora. На этом полотне он изобразил упомянутую красивую даму в объятиях знаменитого в свое время кардинала, а себя поставил близ них вместо сатира, которого отводит старуха со свечкой.

Картина эта представлялась забавною и едкою всем, кроме малоразговорчивого Мака.

– Твое целомудрие оскорблено моею *Пандорой*? – спросил его однажды вечером, сидя за вином, Фебуфис.

Мак прервал свое долгое молчание и ответил ему:

– Да, с этой поры я не перестану жалеть, чем ты способен заниматься.

– Способен!.. Как это глупо! Я способен заниматься всем... и я, наконец, не понимаю, почему иногда не позволить себе шалость.

– Ты называешь это шалостью?

– Конечно. А ты?

– По-моему, это низость, это растление других и самого себя.

– Так ты видишь здесь один цинизм?

– Нет, я вижу все, что здесь есть.

– Что же, например?

– Задор и вызов на борьбу людей, которых не стоит трогать.

– Отчего? Они стоят довольно высоко, и трогать их небезопасно.

– Ага! так тебе это доставляет удовольствие?

– И очень большое.

Мак тихо двинул плечами и, улыбнувшись, сказал:

– Я предпочел бы беречь свои силы, чем их так раскидывать.

– В таком случае все те, кто желает заслужить себе одобрение властей, имеют теперь отличный случай достичь этого, – стоит только обнаруживать пренебрежение *Пандоре*. Ты это делаешь?

Мак посмотрел на него пристальным взглядом и сказал:

– Ты не задерешь меня! Я не ссорюсь из-за пустяков и не люблю, когда ссорятся. Мне нет дела до тех, которые ищут для себя расположения у властей, но мне нравятся те, которые не задираются с ними.

– Ну, не хитри, Мак, ты – скрытый аристократ.

– Пожалуй, я – аристократ в том смысле, что я не хочу подражать слугам, передразнивающим у себя на застольной своих господ. Я совсем не интересуюсь этими... господами.

– Другими словами, ты бережешь себя для чего-то лучшего.

– Очень быть может.

Фебуфис ему насмешливо поклонился.

– Можешь мне и не кланяться, – спокойно сказал ему Мак.

И Мак, заплатив свои деньги, ушел ранее других из таверны.

Обе выходки Фебуфиса, как и следовало ожидать, не прошли даром: первая оскорбила правительство его страны, и Фебуфису нельзя было возвратиться на родину, а вторая подняла против него страшную бурю в самом Риме и угрожала художнику наемным убийством.

Фебуфис отнесся к тому и к другому с полным лег-

комыслием и даже бравировал своим положением; он ни с того ни с сего написал своему государю, что очень рад не возвращаться, ибо из всех форм правления предпочитает республику, а насчет картины, компрометировавшей даму и кардинала, объявил, что это «мечта живописца», и позволял ее видеть посетителям.

В это самое время по Европе путешествовал один молодой герцог, о котором тогда говорили, будто он располагал несметными богатствами. О нем тогда было очень много толков; уверяли, будто он отличался необыкновенною смелостью, щедростью и непреклонностью каких-то своих совершенно особенных и твердых убеждений, с которыми, долго ли, коротко ли, придется посчитаться очень многим. Это делало его интересным со стороны политической, а в то же время герцог слыл за большого знатока и ценителя разнообразных произведений искусства, и особенно живописи.

Высокий путешественник прибыл в Рим полуинкогнито из Неаполя, где все им остались очень довольны. Папский Рим ему не понравился. Рассказывали, будто он сказал какому-то дипломату, что «дело попов – молиться, но не их дело править», и не только не хотел принимать здесь никаких официальных визитов, но даже не хотел осматривать и многих заме-

чательностей вечного города.

Властям, которые надеялись вступить с герцогом в некоторые сношения, было крайне неприятно, что он собирался отсюда ранее, чем предполагалось по маршруту.

Говорили, будто одному из наиболее любимых путешественников лиц в его свите был предложен богатый подарок за то, если оно сумеет удержать герцога на определенное по маршруту время. Это лицо, – кажется, адъютант, – любя деньги и будучи смело и находчиво, позаботилось о своих выгодах и сумело заинтересовать своего повелителя рассказом о скандальном происшествии с картиною Фебуфиса, которая как раз о ту пору оскорбила римских монахов, и о ней шел говор в художественных кружках и в светских гостиных.

Хитрость молодого царедворца удалась вдвойне: герцог заинтересовался рассказом и пожелал посетить мастерскую Фебуфиса. Этим предпочтением он мог нанести укол властным монахам, и от этого одного у него прошла хандра, но зато она слишком резко уступила место нетерпению, составлявшему самую сильную черту характера герцога.

Фебуфис входил в круг идей, для него посторонних, и неожиданно получил новое значение.

Глава пятая

Тот же самый адъютант, которому удалось произвести перемену в расположении высокого путешественника, был послан к Фебуфису известить его, что такая-то особа, путешествующая под таким-то инкогнито, желает завтра быть в его мастерской. Фебуфису показалось, что это сделано как будто надменно, и его характер нашел себе здесь пищу.

– Разве ваш герцог так любит искусство? – спросил он небрежно у адъютанта.

– Да, герцог очень любит искусство.

– И что-нибудь в нем понимает?

– Как вы странно спрашиваете! Герцог – прекрасный ценитель в живописи.

– Я слышал только, что он хороший покупатель.

– Нет, я говорю вам именно то, что и хочу сказать: герцог – хороший *ценитель*.

– Быть ценителем – это значит не только знать технику, но иметь понятия о благородных задачах искусства.

– Мм... да!.. Он их имеет.

– В таком разе вы повезите его к Маку.

– Кто этот Мак?

– Мак? Это мой славный товарищ и славный худож-

ник. У него превосходные идеи, и я когда-то пользовался его советом и даже начал было картину «Бросься вниз», но не мог справиться с этой идеей.

– *Бросься вниз?*

– Да... «Бросься вниз».

Гостю показалось, что хозяин над ним обидно шутит, и он сухо ответил:

– Я не понимаю такого сюжета.

– Позвольте усомниться.

– Я не имею привычки шутить с незнакомыми.

– «Бросься вниз» – это из Евангелия.

– Я не знаю такого текста.

– Сатана говорит Христу: «Бросься вниз».

Адъютант сконфузился и сказал:

– Вы правы, я вспоминаю, – это сцена на кровле храма?

– Вы называете это «сценою»? Ну, прекрасно, будь по-вашему: станем называть евангельские события «сценами», ко, впрочем, все дело в благородстве задачи. Обыкновенно ведь пишут сатану с рожками, и он приглашает Христа броситься за какие-то царства... По идее Мака выходило совсем не то: его сатана очень внушительный и практический господин, который убеждает вдохновенного правдолюбца только снизойти с высот его духовного настроения и немножко «броситься вниз», прийти от правды бега к правде

герцогов и королей, войти с ним в союз... а Христос, вы знаете, этого не сделал. Мак думает, что у них шло дело об этом и что Христос на это не согласился.

– Да, конечно. Это тоже интересно... Но герцог вообще хочет видеть все ваши работы.

– Двери моей студии открыты, и ваш повелитель может в них войти, как и всякий другой.

– Он непременно желает быть у вас завтра.

– Непременно завтра?

– Да.

– В таком случае лучше пусть он придет послезавтра.

– Позвольте!.. Но почему же послезавтра, а не завтра?

– А почему именно непременно завтра, я не послезавтра?

– Нет, уж позвольте завтра!

– Нет, послезавтра!

Адъютант молча хлопнул несколько раз глазами, что составляло его привычку в минуты усиленных соображений, и проговорил:

– Что же это значит?

– Ничего, кроме того, что я вам сказал, – отвечал Фебуфис и, вспрыгнув на высокий табурет перед большим холстом, который расписывал, взял в руки кисти и палитру.

Все существо его ликовало и озарялось торжеством в самом его любимом роде: он мог глядеть свысока на стоявшего около него светского человека, присланного могущественным лицом, и, таким образом, унижал и посла и самого пославшего.

Адъютант не скрывал своего неприятного положения и сказал:

– Я не могу передать герцогу такого ответа.

– Отчего?

– Он не терпит отказов.

– Ну, нечего делать, потерпит.

– Он не согласится остаться здесь до послезавтра.

– Человек, который так любит искусство, согласится.

– Он назначил завтра вечером уехать.

– Он сам себе господин и всегда может отсрочить.

Адъютант рассмеялся и отвечал:

– Вы оригинальный человек.

– Да, я не рабская копия.

– Без сомнения, герцог может остаться везде, сколько ему угодно, но поймите же, что с ним не принято так обходиться. Ему нельзя диктовать.

– Значит, у него есть характер?

– И очень большой.

– Да, говорят, и я слышал, – это интересно! Так вот мы его испробуем: вы скажите ему, что так и быть, пу-

щу его к себе, но только послезавтра.

– Прошу вас, оставьте это, маэстро!

– Не могу, господин адъютант, не могу, я тоже – рекомендуюсь вам – человек упрямый.

– На что вам его сердить?

– По совести сказать, ни на что, но мне теперь взошла в голову такая фантазия, и вы со мною, с позволения вашего, ни черта не поделаете, ради всех герцогов вместе и порознь.

– Вы дерзки.

– Хотите дуэль?

– Очень хотел бы, но, к сожалению, я теперь не могу принять дуэли.

– Почему?

– Конечно, не потому, что я не желаю вас убить или страшусь быть убитым, но потому, что я состою в свите такого лица, путешествие которого не должно сопровождаться никакими скандалами.

– Хорошо, не нужно дуэли, но я вам предлагаю пари.

– Какое? в чем оно состоит?

– Оно состоит вот в чем: мне кажется, будто я знаю вашего герцога больше, чем вы.

– Это интересно.

– Да, и я это утверждаю и держу пари, что если вы передадите ему то, что я вам сказал, то он останется

здесь еще на день.

– Ни за что на свете!

– Вы ошибаетесь.

– Оставим этот разговор.

– А я вам ручаюсь, что я не ошибаюсь; он чудесно прождет до послезавтра, и я вам советую принять пари, которое я предлагаю.

– Я желал бы знать, в чем же будет заключаться самое пари?

– В том, что если ваш повелитель останется здесь на три дня, то вы без всяких отговорок должны исполнить то, что я закажу вам; а если он не останется, то я исполню любое приказание, какое вы мне дадите. Наши шансы равны, и даже, если хотите знать, я рискую больше, чем вы.

– Чем?

– Я не буду знать, точно ли вы передадите мои слова.

– Я передам их в точности, но, в свою очередь, я могу принять ваше условие только в том случае, если в заказе, который вы мне намерены сделать в случае моего проигрыша, не будет ничего унижительного для моей чести.

– Без сомнения.

– В таком случае...

– Вы принимаете мое пари?

– Да.

– Это прелестно: мы заключаем пари на герцога.

– Мне неприятно, что вы над этим смеетесь...

– Я не буду смеяться. Пари идет?

– Извольте.

– Я подаю вам мою руку с самыми серьезными намерениями.

– Я с такими же ее принимаю.

Молодые люди ударили по рукам, и офицер откланялся и ушел, а Фебуфис, проводив его, отправился в кафе, где провел несколько часов с своими знакомыми и весело шутил с красивыми служанками, а когда возвратился вечером домой, то нашел у себя записку, в которой было написано:

«Он остается здесь с тем, чтобы быть у вас в студии послезавтра».

Фебуфис небрежно смял записку и, улыбнувшись, написал и послал такой же короткий ответ. В ответе этом значилось следующее:

«Он пробудет здесь *три дня*».

Глава шестая

Следующий день Фебуфис провел, по обыкновению, за работой и принимал несколько иностранцев, которые внимательно осматривали его талантливые работы, а втайне всего более заглядывали на *Messaline dans la loge de Lisisca*, которая занимала большое и видное место. Картина во весь день не была задернута гобеленом, и ее видели все, кто посетил студию.

Потом Фебуфис был во всех тех местах, которые имел в обычае посещать ежедневно, но вернулся домой несколько ранее и, запершись дома с слугою, занялся приведением своей мастерской в большой порядок.

Семейство желчного, большого скульптора, обитавшее в нижнем жилье, которое находилось под ателье Фебуфиса, очень долго слышало шум и возню от передвижения тяжелых мольбертов. Можно было думать, что художник наскучил старым расположением своей мастерской или ему, может быть, пришла фантазия исполнить какую-нибудь новую затею с *Messaline dans la loge de Lisisca*.

Это так и было.

На следующий день догадки нижнего семейства

подтвердились и разъяснились: тотчас после ранней сиесты мастерскую Фебуфиса посетил именитый путешественник в сопровождении двух лиц из своей свиты.

Один из них был престарелый, но молодящийся сановник, во фраке и с значительным количеством звезд. Он был первый советник герцога по всем делам, касающимся иностранных сношений, и занимал должность начальника этого ведомства. В числе звезд, украшавших его лацкана, были и такие, которых никто другой, кроме его, не имел. Старец носил превосходно взбитый на голове парик, блистал белейшими зубами и был подрисован и зашнурован в корсет. Лета его были неизвестны, но он держался бодро, хотя и вздрагивал точно под ударами вольтова столба. Чтобы маскировать это непроизвольное движение, он от времени до времени делал то же самое нарочно. В существе это была дипломатическая хартия, вся уже выцветшая, но еще кое-как разбираемая при случае. В нем была смесь джентльмена, маркиза и дворецкого, но утверждали, будто в делах он ловок и очень находчив. Другой при герцоге был тот самый молодой адъютант, с которым Фебуфис держал свое пари о «завтра и послезавтра».

Сам герцог и оба его провожатые были в обыкновенном партикулярном платье, в котором, впрочем,

герцог держался совсем по-военному. Он был представительный и даже красивый мужчина, имел очень широкие манеры и глядел как человек, который не боится, что его кто-нибудь остановит; он поводил плечами, как будто на нем были эполеты, и шел легко, словно только лишь из милости касался ногами земли.

Взойдя в atelier,¹ герцог окинул все помещение глазами и удивился. Он как будто увидал совсем не то, что думал найти, и остановился посреди комнаты, нахмурив брови, и, оборотясь к адъютанту, сказал:

– Это не то.

Адъютант покраснел.

– Это не то, – повторил громко герцог и, сделав шаг вперед, подал художнику руку.

Фебуфис ему поклонился.

– А где же это?

Фебуфис смотрел с недоумением то на герцога, то на его провожатых.

– Я спрашиваю это... то, что у вас есть...

– Здесь решительно все, что может быть достойно вашего внимания.

– Но было еще что-то?

– Кое-какой хлам... пустяки, недостойные вашего внимания.

– Прекрасно... благодарю, но я не хочу, чтобы вы со

¹ Мастерскую – Франц.

мною чинились: не обращайтесь внимания, что я здесь, и продолжайте работать, – я хочу не спеша осмотреть все, что есть у вас в atelier.

И он начал скоро ходить взад и вперед и вдруг опять сказал:

– Да где же, наконец, то?

– Что вы желаете видеть? – спросил Фебуфис.

– Что?

Герцог гневно метнул глазами и не отвечал, а его адъютант стоял переконфуженный, но статский са-новник шепнул:

– Герцог хочет видеть ту картину... ту вашу картину... о которой все говорят.

– Ах, я догадываюсь, – отвечал Фебуфис и откатил подставку, на которой стояло обернутое лицом к стене полотно с новым многоличным историческим сюжетом.

– Не то! – вскричал герцог. – Что изображает эта картина?

– Она изображает знаменитого в шестнадцатом веке живописца Луку Кранаха.

– Ну?

– Он, как известно, был почтен большою дружбой Иоанна Великодушного.

– А что далее?

– Художник умел быть благороднее всех высо-

корожденных льстецов и царедворцев, окружавших Иоанна, и когда печальная судьба обрекла его покровителя на заточение, его все бросили, кроме Луки Кранаха.

– Очень благородно, но... что еще?

– Лука Кранах один добровольно разделял неволю с Иоанном в течение пяти лет и поддерживал в нем душевную бодрость.

– Хорошо!

– Да, они не только не унывали в заточении, но даже успели многому научиться и еще более возбудить свои душевные силы. Я на своей картине представил, как они проводили свое время: вы видите здесь...

– Да, я вижу, прекрасно вижу.

– Иоанн Великодушный читает вслух книгу, а Лука Кранах слушает чтение и сам пишет этюд нынешней знаменитой венской картины «Поцелуй Иуды»...

– Ага! намек предателям!

– Да, вокруг узников мир и творческая тишина, можно думать, что книга – историческая и, может быть, говорит о нравах царедворцев.

– Дрянь! – оторвал герцог. – Вы прекрасно будете поступать, если будете всегда карать эти нравы.

Фебуфис продолжал указывать муштабелем на изображение Кранаха и говорил с оживлением:

– Я хотел выразить в лице Кранаха, что он старает-

ся проникнуть характер предателя и проникает его... Он изображает Иуду не злым, не скупцом, продающим друга за ничтожную цену, а только узким, раздраженным человеком.

– Вот, вот, вот! Это прекрасно!

– Это человек, который не может снести широты и смелости Христа, вдохновленного мыслью о любви ко всем людям без различия их породы и веры. С этой картины Кранах начал ставить внизу монограмму сухого, тощего дракона в пятой манере.

– Помню: сухой и тощий дракон.

– Есть предание, будто он растирал для этого краску с настоящей драконовою кровью...

– Да... Но все это не то! – перебил его герцог. – Где же то?! Я хочу видеть вашу голую женщину!

– Голую женщину?

– Ну да, голую женщину! – подсказал ему старый сановник.

– Ту голую женщину, которая вчера была на этом мольберте, – подсказал с другой стороны адъютант.

– Ах, вы это называете *то*?..

– Ну да!

– Да, да.

– Но вы ошибаетесь, полковник, это ведь было не вчера, а позавчера.

– Оставьте спор и покажите мне, где голая женщи-

на? – молвил герцог.

– Я думал, что она не стоит вашего внимания, ваша светлость, и убрал ее.

– Достаньте.

– Она вынесена далеко и завалена хламом.

– Для чего же вы это сделали?

Фебуфис улыбнулся и сказал:

– Я могу быть откровенен?

– Конечно!

– Я так много слышал о вашей строгости, что про-работал всю ночь за перестановкою моей мастерской, чтобы только убрать нескромную картину в недоступное место.

– Ненаходчиво. Впрочем, меня любят представлять зверем, но... я не таков. Фебуфис поклонился.

– Я хочу видеть вашу картину.

– Чтобы доставить вам удовольствие, я готов про-работать другую ночь, но едва могу ее достать разве только к завтрашнему дню.

Посетителю понравилась веселая откровенность Фебуфиса, а также и то, что он его будто боялся. Лицо герцога приняло смягченное выражение.

– Хорошо, – сказал он, – достаньте. Я остаюсь здесь еще до завтра.

Он не стал ничего больше рассматривать и уехал с своими провожатыми, а Фебуфис обернул опять ли-

цом к стене полотна с *Сатаной* и *Кранахом*, а *Пандору* поставил на мольберт и закрыл гобеленом, подвижно ходившим на вздержковых кольцах.

Глава седьмая

Устроив у себя в мастерской все опять как было, по-старому, Фебуфис пошел, по обыкновению, вечером в кафе, где сходились художники, и застал там в числе прочих скульптора, занимавшего помещение под его мастерской. Они повидались дружески, как всегда было прежде, но скульптор скоро начал подшучивать над демократическими убеждениями Фебуфиса и рассказал о возне, которую он слышал у него в мастерской.

– Я не мог этого понять до тех пор, – говорил скульптор, – пока не увидел сегодня входившего к тебе герцога.

– Да, и когда ты его увидел, ты тоже ничего не понял.

– Я понял, что ты тоже не прочь подделываться.

– К кому?

– К великим мира.

– Ну!

– В самом деле! Да еще к таким, как этот герцог, который, говорят, рычит, а не разговаривает с людьми по-человечески.

– Это неправда.

– Ты за него заступаешься!

– А отчего бы нет?

– Он тебя причаровал.

– Он держал себя со мною как бравый малый... немножко по-солдатски, но... он мне понравился, и я даже не хотел бы, чтобы о нем говорили неосновательно.

– Он купил чем-то твое расположение.

Фебуфис вспыхнул. Его горячий и вспыльчивый нрав не позволил ему ни отшутиться, ни разъяснить своего поведения, – он увидел в намеке скульптора нестерпимое оскорбление и в безумной запальчивости ответил ему еще большим оскорблением. Завязался спор и дошел до того, что Фебуфис схватился за стилет. Скульптор сделал то же, и они мгновенно напали один на другого. Их розняли, но Фебуфис, однако, успел нанести скульптору легкую царапину и сам получил довольно серьезный укол в правую руку.

В дело сейчас же вмешалась полиция, – римские власти обрадовались случаю наказать художника, оскорбившего своею нескромною картиною кардинала. Фебуфис, как зачинщик схватки, ночью же получил извещение, что он должен оставить Рим до истечения трех суток.

Гнев овладел Фебуфисом в такой степени, что он не заботился о последствиях и сидел в своей мастерской, когда к нему опять вошли герцог-incognito с его

молодым провожатым и старцем со звездой.

Фебуфис привстал при их входе и, держа правую руку на перевязи, левою открыл картину.

Высокий гость сразу обнял взглядом «Пандору», прищурил левый глаз и расхохотался – столько было в ней нескромного и в нескромном смешного. Картина, видимо, доставляла зрителям величайшее наслаждение и привела герцога в самое доброе расположение. Он протянул художнику руку. Тот извинился, что подает левую руку.

– Принимаю ее, – отвечал гость, – она ближе к сердцу. А кстати, я слышал, с вами случилась неприятность?

– Я не обращаю на это внимания, ваша светлость.

– Однако вас высылают из папских владений?

– Да.

– В этой истории я оказываюсь немножко причинен... Я был бы очень рад быть вам полезен.

– Я на это не рассчитывал; но вы были мой гость, и я не хотел, чтобы о вас говорили неуважительно.

– Вы поступили очень благородно. Сколько стоит «Кранах»?

Фебуфис сказал цену.

– Это дешево. Я ее покупаю и плачу вдвое.

– Это сверх меры, и я...

– Ничего не сверх меры: благородная идея до-

рого стоит. И, кроме того, во всяком случае, я еще ваш должник. Скажите мне, куда вы теперь намерены уехать и что намерены делать?

– Я застигнут врасплох и ничего не знаю.

– Обдумайтесь скорее. Вы ведь не в ладах с вашим государем.

– Да, ваша светлость.

– Это нехорошо. Я могу просить за вас.

– Покорно вас благодарю. Я не желаю прощения.

– Дурно. Впрочем, все вы, художники, всегда с фантазиями, но я хотя и не художник, а мне тоже иногда приходят фантазии: не хотите ли вы ехать со мною?

– Как с вами? Куда?

– Куда бог понесет. Со мною вы можете уехать ранее, чем вам назначено, и мы посетим много любопытных мест... Кстати, вы мне можете пригодиться при посещении галерей; а я вам покажу дикие местности и дикий воинственный народ, быт которого может представить много интересного для вашего искусства... Другими никакими соображениями не стесняйтесь – это все дело товарища, который вас с собой приглашает.

Фебуфис стоял молча.

– Значит, едем? – продолжал гость. – Сделаем вместе путешествие, а потом вы свободны. Рука ваша пройдет, и вы опять будете в состоянии взяться за ки-

сти и за палитру. Мы расстанемся там, где вы захотите меня оставить.

– Вы так ко мне милостивы, – перебил Фебуфис, – я опасюсь, как бы мысль о разлуке не пришла очень поздно.

Гость улыбнулся.

– Вы «опасаетесь», вы думаете, что можете пожелать расстаться со мною, когда будет «поздно»?

Фебуфис сконфузился своей неясно выраженной мысли.

– Ничего, ничего! Я люблю чистосердечие... Все, что чистосердечно, то все мне нравится. Я приглашаю вас быть моим товарищем в путешествии, и если вы запоздаете расстаться со мною на дороге, то я приглашаю вас к себе и ручаюсь, что вам у меня будет не худо. Вы найдете у меня много дела, которое может дать простор вашей кисти, а я подыщу вам невесту, которая будет достойна вас умом и красотой и даст вам невозмутимое домашнее счастье. Наши женщины прекрасны.

– Я это знаю, – отвечал Фебуфис.

– Только они прекрасные жены, но позировать в натуре не пойдут. Так это решено: вы мой товарищ?

– Я ваш покорнейший слуга.

– Прекрасно! И вы с этой же секунды увидите, что это довольно удобно: берите шляпу и садитесь со

мною. Распоряжения и сборы об устройстве вашей студии не должны вас волновать. При ране, хотя бы и не опасной, это вредно... Доверьте это ему.

Гость показал глазами на своего адъютанта и, оборотясь слегка в его сторону, добавил:

– Сказать в посольстве, что они отвечают за всякую мелочь, которая здесь есть. Все уложить и переслать на мой счет, куда потребуется. Положитесь на него и берите вашу шляпу.

Фебуфис протянул руку провожатому и сказал:

– Мы квиты. Тот вспыхнул. Герцог посмотрел на молодых людей и произнес:

– Что между вами было?

– Пари, – ответил Фебуфис и коротко добавил, что граф ему проиграл маленькую услугу и теперешние его заботы он принимает за сквитку.

– И прекрасно! Честный человек всегда платит свои долги! А в чем было пари?

Фебуфис опять взглянул в лицо адъютанта, и ему показалось, что этот человек умрет сию минуту.

– Извините, ваша светлость, – сказал Фебуфис, – в это замешано имя третьего лица.

– Ах, тайна! Что есть тайна, то и должно оставаться тайною. Я не хочу знать о вашем пари. Едем.

Фебуфис вышел вместе с герцогом и с ним же вместе уехал в роскошное помещение его посла.

Глава восьмая

Известие о том, что Фебуфис так спешно покидает Рим, и притом в сообществе могущественного лица, мгновенно облетело все художественные кружки. Фебуфис теперь не удалялся из Рима как изгнанник, а он выступал как человек, который одержал блистательную победу над своими врагами. Никто не сомневался, что Фебуфис не испугался бы изгнания из Рима и, может быть, вышел бы отсюда еще с какою-нибудь новою дерзостью, но выйти так величественно, как он теперь выходит с могущественным покровителем, который добровольно назвался его «товарищем», – это было настоящее торжество. Все говорили: «А герцог-то, значит, совсем не такой грубый человек, как о нем рассказывают. Вон он как прост и как приветлив! Что ни говори, а он достоин симпатий!»

И вот молодые художники – все, кто знал Фебуфиса, побросали работы и веселою гурьбой отправились на первую станцию, где надлежало переменять лошадей в экипажи путешественника и его свиты. Все они хотели проводить товарища и даже приветствовать его великодушного покровителя. В числе провожатых находились и Пик и Мак.

Здесь были цветы, вино, песни и даже было сочи-

нено наскоро величание «покровителю художников».

Герцог был очень доволен сюрпризом: он не спешил прерывать прощание товарищей и даже сам поднял бокал за «товарищей» и за процветание «всего изящного и благородного в мире».

Это возбудило такой всеобщий восторг, что герцог уехал, сопровождаемый долго не умолкавшими кликами самого непритворного и горячего восторга.

Экипаж, в котором ехали Фебуфис и адъютант, с разрешения герцога остался здесь до утра, когда оба путешественника были уложены в коляску и, удаляясь, должны были долго слышать вслед за собою нетрезвые крики друзей, смешивавших имена Луки Кранаха с именем Фебуфиса и имя герцога с именем Иоанна Великодушного. Более всех шумел Пик.

– Нет, каков герцог! Каков этот суровый, страшный герцог! – кричал он весь в поту, с раскрасневшимся лицом.

– Смотри, будь счастлив, Фебуфис! – вторили Пику другие.

– О, он будет счастлив! Он должен быть счастлив с таким покровителем!

– Еще бы! такое покровительство хоть кого выведет к всемирной славе, тем более Фебуфиса. Но как он это обделал!

– А это штука, но что бы кто ни говорил, я ручаюсь

за одно, что Фебуфис не дозволил себе ничего такого, что бы могло бросить тень униженного искательства на его поведение!

– Конечно, конечно!

– Я там не был, но я это чувствую... и я за это ручаюсь, – настаивал Пик.

– Конечно, конечно!.. Из нас никто там не был, но мы все ручаемся, что Фебуфис не сказал ни одного унижительного слова, что он не сделал перед герцогом ни одного поклона ниже, чем следует, и вообще... он... вообще...

– Да, вообще... вообще Фебуфис – благородный малый, и если скульптор имеет об этом иное мнение, то он может потребовать от каждого из нас отдельных доказательств в зале фехтовальных уроков, а Фебуфису мы пошлем общее письмо, в котором напишем, как мы ему верим, как возлагаем на него самые лучшие наши надежды и клянемся ему в товарищеской любви и преданности до гроба.

– До гроба! до гроба!

Но в это время кто-то крикнул:

– Вы поклянитесь на своих мечях!

Все обернулись туда, откуда шел этот голос, и увидели Мака.

Один Мак до сих пор упорно молчал, и это обижало Пика; теперь же, когда он прервал свое молчание

фразой из Гамлета, Пик обиделся еще более.

– Я не ожидал этого от тебя, Мак, – сказал он и затем вспрыгнул на стол и, сняв с себя шляпу, вскричал:

– Друзья, здесь шутки Мака неуместны! Восторг не должно опошлять! Восходит солнце, я гляжу в его огненное лицо: я вижу восходящее светило, я кладу мою руку на мое сердце, в которое я уместил мою горячую любовь к Фебуфису. Я призываю тебя, великий в дружбе Кранах!.. Кладите, друзья, свои руки не на мечи, а на ваши сердца, и поклянемся доказать нашу дружбу Фебуфису всем и всегда... и всегда... и всегда... да... да... да!

У пришедшего в восторг Пика стало истерически дергать горло, и все его поняли, схватили его со стола, подняли его, и все поклялись в чем-то на своих сердцах.

И затем опять пили и пели все, кроме Мака, который тихо встал и, выйдя в сад, нашел скрывавшуюся в густой куртине молодую женщину. Это была Марчелла. Она стояла одиноко у дерева, как бы в окаменении. Мак тронул ее за плечо и сказал ей:

– Тебе пора домой, Марчелла. Пойдем, я провожу тебя.

– Благодарю, – отвечала Марчелла и пошла с ним рядом, но, пройдя недалеко по каменистой дороге, остановилась и сказала:

– Меня покидают силы.

– Отдохнем.

Они сели. До них долетали звуки пьяных песен.

– Как они противно поют! – уронила Марчелла.

– Да, – отвечал Мак.

– Он пропадет?

– Не знаю, да и ты не можешь этого знать.

– Мое сердце это знает.

– Твое сердце и здесь его не спасало.

– Ах да, добрый Мак, не спасало.

– Что же будем делать?

– Жалей его вместе со мною!

И она братски поцеловала Мака.

А там всё еще пели.

Такого взрыва восторженных чувств друзья не видали давно, и, что всего лучше, их пированье, начатое с аффектацией и поддержанное вином, не минуло бесследно. Художники на другой день не только послали Фебуфису общее и всеми ими подписанное письмо, но продолжали интересоваться его судьбою, а его многообещавшая судьба и сама скоро начала усугублять их внимание и сразу же обещала сделаться интересною, да и в самом деле скоро таковою сделалась в действительности.

Глава девятая

Фебуфис вскоре же прислал первые письма на имя Пика. Как в жизни и в искусстве, так и в письмах своих он стремился быть более красивым, чем натуральным и искренним, но тем не менее письма его чрезвычайно нравились Пикку и тем из их товарищей, которые имели сродные свойства самодовлеющих художественных натур воспоминаемого времени. Стоило молодой буфетчице кафе, куда адресовалась корреспонденция маленького Пика, показать конверт, надписанный на его имя, как все вскричали:

– Не от Фебуфиса ли? Письмо от Фебуфиса! И если письмо было действительно от Фебуфиса, то Пик кивал утвердительно головою, и все вдруг кричали:

– Друзья, письмо от Фебуфиса! Радость и внимание! Пишет товарищ и друг венценосца! Читай, Пик!

Пик подчинялся общему желанию, раскрывал письмо, запечатанное всем знакомою камеей Фебуфиса, и читал. Тот описывал виденные им местности, музеи, дворцы и палаты, а также свои личные впечатления и особенно характер своего великодушного покровителя и свои взаимные с ним отношения. По правде сказать, это особенно всех интересовало. Их отношения часто приводили художников в такой восторг, что

они все чувствовали себя как бы объединенными с высоким лицом чрез Фебуфиса. В их дружеском круге не упоминалось более официальное величание этой особы, а вместо всего громкого титула ему дали от сердца исшедшее имя: «великодушный товарищ».

Иначе его не называл никто, кроме Мака, который, впрочем, имел от природы недоверчивый характер и был склонен к насмешке над всякими шумными и надутыми чувствами и восторгами, но на него не обращали много внимания: он в самом деле был ворчун и, может быть, портил прямую линию самодовлеющему искусству, наклоняя его к «еретическому культу служения идеям».

По поводу путевых впечатлений Фебуфиса Мак не ликовал: он не только не интересовался ими, но даже был резок и удивлялся: что в них может интересовать других? Когда все слушали, что описывает Фебуфис, Мак или лениво зевал, или следил глазами по печатным строчкам газеты, ища встретить им-я Джузеппе Гарибальди, тогда еще известное очень немногим, в числе которых, впрочем, были Марчелла и Мак (Пик звал их: «организмы из уксусного гнезда». Уксусное гнездо тогда было в заводе). Понятно, что человеку такого духа было мало нужды до «путешествия с герцогом».

По взглядам Мака, Фебуфис был талантливый че-

ловек, который пошел по дурной дороге, и в виду чего-нибудь более достойного им не стоит заниматься.

– Ты – «черный ворон», Мак, – говорил ему с обидою в голосе Пик. – Завещай нам, чтобы мы из тебя сделали пугало.

– А ты, мой милый Пик, настоящий теленок, и из тебя без всякого твоего завещания когда-нибудь приготовят такой же шнель-клёпс, как из твоего Фебуфиса.

– А из Фебуфиса уже готовят шнель-клёпс?

– Ну, конечно.

После таких перемолвок Пик давал себе слово ничего не говорить о Фебуфисе в присутствии Мака, но, однако, не выдерживал и при всяком новом известии спешил возвестить его при Маке. Да и трудно было удержаться, потому что известия приходили одно другого эффектнее. На шнель-клёпс не было ничего похожего, – напротив, между Фебуфисом и его покровителем образовалась такая настоящая, товарищеская дружба, что можно было опасаться: нет ли тут преувеличений?

– Шнель-клёпса не будет! – говорил Пик, похлопывая Мака.

Но Мак отвечал:

– Будет!

И вдруг в самом деле запахло шнель-клёпсом: пришло письмо, в котором Фебуфис описывал, как они

сделали большой переезд верхами по горам, обитаемым диким, воинственным племенем. Прекрасно были описаны виды неприступных скал, падение гремящих потоков и удивительное освещение высей и дымящихся в тумане ущелий и долин; потом описывались живописные одежды горцев, их воинственный вид, мужество, отвага и простота их патриархальных обычаев, при которой сохранилось полное равенство и в то же время дружественность и гостеприимство с ласковостью, доходящею до готовности сделать приятное гостю даже с риском собственной жизни.

«В одном месте, – описывал Фебуфис, – я был чрезвычайно тронут этою благородною чертой, и у нас даже дошло дело до маленькой неприятности с моим патроном. Впрочем, все это сейчас же было заглажено, и от неприятного не осталось ни малейшего следа, – напротив, мы еще более сблизились, и я после этого полюбил его еще более».

– Начинается что-то любопытное, – вставил слово Мак.

– Да, конечно, – отвечал Пик, – ведь ты слышишь: они «еще более сблизились»; но слушайте, я продолжаю.

«Мы еще более сблизились»... Да, вот где я остановился: «мы сблизились, – мы ехали вдоль узкой, покрытой кремнистою осыпью тропинки, которая вилась

над обрывом горной речки. По обеим сторонам тропы возвышались совершенно отвесные, точно как бы обрубленные скалы гранита. Обогнув один загиб, мы стали лицом к отвесной стене, так сильно освещенной солнечным блеском, что она вся казалась нам огненной, а на ней, в страшной высоте, над свесившимися нитями зеленого диорита, мы увидали какой-то рассыпчатый огненный ком, который то разлетался искрами, то вновь собирался в кучу и становился густым. Мы все недоумевали, что это за метеор, но наши проводники сказали нам, что это просто рой диких пчел. Горцы отлично знают природу своего дикого края и имеют Я преострое зрение: они определили нам, что этот рой только что отроился от старого гнезда, которое живет здесь же где-нибудь в горной трещине, и что там у них должен быть мед. Герцог пошутил, что здешние пчелы очень предусмотрительны, что, живучи между смелых людей, они нашли себе такой приют, где их не может потревожить человек самый бесстрашный. Но старший в нашем эскорте, седоволосый горец со множеством ремешков у пояса, на которых были нанизаны засохшие носы, отрубленные у убитых им неприятелей, покачал своею красивою белою головой и сказал:

– Ты не прав, господин: в наших горах нет для нас мест недоступных.

– Ну, этому я поверю только тогда, – отвечал герцог, – если мне подадут отведасть их меда.

Услыхав это, старый горец взглянул в глаза герцогу и спокойно ответил:

– Ты попробуешь этого меда.

С этим он сейчас же произнес на своем языке какое-то нам непонятное слово, и один молодой красавец наездник из отряда в ту же минуту повернул своего коня, гикнул и исчез в ущелье. А старик молчаливым жестом руки дал нам знак остановиться.

Мы остановились, и должны были это сделать, потому что все наши провожатые стали как вкопанные и не двигались с места... Старец сидел на своем коне неподвижно, глядя вверх, где свивался и развивался золотистый рой. Герцог его спросил: „Что это будет?“ – но он ответил: „Увидишь“, и стал крутить в грязных пальцах свои седые усы.

Так прошло не более времени, чем вы, может быть, употребите на то, чтобы прочесть мои строки, и вдруг наверху скалы, над тем самым местом, где вился рой, промелькнул отделившийся от нас всадник, а еще через мгновение мы увидели его, как он спешился около гребня скалы и стал спускаться на тонком, совсем незаметном издали ремне, и повис в воздухе над страшною пропастью.

Герцог вздрогнул, сказал: „Это черт знает что за лю-

ди!“ – и на минуту закрыл рукой глаза.

Мы все замерли и затаили дыхание, но горцы стояли спокойно, и старик спокойно продолжал крутить свои седые усы, а тот меж тем снова поднялся наверх и через пять минут был опять среди нас и подал герцогу кусок сетевого меда, воткнутый на острие блестящего кинжала.

Герцог, к удивлению моему, похвалил его холодно; он приказал адъютанту взять мед и дать горцу червонец, а сам тронул повод и поехал далее. Во всем этом выражалась как будто вдруг откуда-то вырвавшаяся противная, властительная надменность.

Это было сделано так грубо, что меня взбесило. Я не выдержал себя, торопливо снял с руки тот мой дорогой бриллиантовый перстень, который подарила мне известная вам богатая англичанка, и, сжав руку молодого смельчака, надел ему этот перстень на палец, а горец отстранил от себя протянутую к нему адъютантом руку с червонцем и подал мне мед на кинжале. И я его взял. Я не мог его не взять от горца, который, отстранив герцогский подарок, охотно принял мой перстень и, взяв мою руку, приложил ее к своему сердцу, но далее я соблюл вежливость: я тотчас же подал мед герцогу, только он не взял... он ехал, отворачаясь в сторону. Я подумал, что он обиделся, но это у меня промелькнуло в голове и сейчас же исчезло,

вытесненное живым ощущением, которое сообщало мне вдохновляющее спокойствие горца.

Его сердце билось так же ровно, как бьется сердце человека, справляющего приятную сиесту. Ни страх минувшей опасности, ни оскорбление, которое он должен был почувствовать, когда ему хотели заплатить червонец, как за акробатское представление, ни мой дорогой подарок, стоимость которого далеко превосходила ценность трехсот червонцев, – ничто не заставило его чувствовать себя иным, чем создала его благородная природа. Я был в таком восторге, что совсем позабыл о неудовольствии герцога и, вынув из кармана мой дорожный альбом, стал наскоро срисовывать туда лицо горца и всю эту сцену. Художественное было мне дорого до той степени, что я совсем им увлекся и, когда кончил мои кроки, молча подъехал к герцогу и подал ему мою книжку, но, вообразите себе, он был так невежлив, что отстранил ее рукой и резко сказал: „Я не требовал, чтобы мне это было подано. Черт возьми, вы знаете, я к этому не привык!“ Я спокойно положил мою книжку в карман и отвечал: „Я извиняюсь!“ Но и это простое слово его так страшно уязвило, что он сжал в руке судорожно поводья и взгляд его засверкал бешенством, а между губ выступила свинцовая полоска.

Я помнил спокойствие горца и на все это сверкание

обратил нуль внимания, и... я победил грубость герцога. Мы поехали дальше; я все прекрасно владел собою, но в нем кипела досада, и он не мог успокоиться: он оглянулся раз, оглянулся два и потом сказал мне:

– Знаете ли вы, что я никогда не позволяю, чтобы кто-нибудь поправлял то, что я сделал?

– Нет, не знаю, – отвечал я и добавил, что я вовсе не для того и показывал ему мой рисунок, чтобы требовать от него замечаний, потому что я тоже не люблю посторонних поправок, и притом я уверен, что с этого наброска со временем выйдет прекрасная картина.

Тогда он сказал мне уже повелительно: „Покажите мне сейчас ваш рисунок“.

Я хотел отказать, но улыбнулся и молча подал ему альбом.

Герцог долго рассматривал последний листок: он был в худо скрываемом боренье над самим собою и, по-видимому, переламывал себя, и потом взглянул мне в глаза с холодной и злою улыбкой и произнес:

– Вы хорошо рисуете, но нехорошо обдумываете ваши поступки.

– Что такое? – спросил я спокойно.

– Я чуть-чуть не уронил ваш альбом в пропасть.

– Что за беда? – отвечал я. – Этот смельчак, который сейчас достал мед, вероятно, достал бы и мой альбом.

– А если бы я вырвал отсюда листок, на котором вы зачертили меня с таким особенным выражением?

– Я передал то выражение, которое у вас было.

– Все равно, кто-нибудь на моем месте очень мог пожелать уничтожить такое свое изображение.

Я был в расположении ответить дерзко на его дерзости и сказал, что я нарисовал бы то же самое во второй раз и только прибавил бы еще одну новую сцену, как рвут доверенный альбом. – Но, – добавил я, – я ведь знал, что вы не „кто-нибудь“ и что вы этого не сделаете.

– Почему?

– Потому, что вы в вашем положении должны уметь владеть собою и не позволять нам, простым людям, превосходить вас в благородстве и великодушии.

Лицо герцога мгновенно изменилось: он позеленел и точно с спазмами в горле прошипел:

– Вы забылись!., мне тоже нельзя делать наставлений, – и на губах его опять протянулась свинцовая полоска.

Это все произошло из-за куска меду и из-за того, что он не успел как должно поблагодарить полудикого горца за его отвагу, а я это поправил... Это было для него несносное оскорбление, но я хотел, чтобы мне не было до его фантазий никакого дела. Вместо того чтобы прекратить разговор сразу, я сказал ему, что

никаких наставлений не думал делать и о положении его имею такое уважительное мнение, что не желаю допускать в нем никаких понижающих сближений.

Он не отвечал мне ни слова, и, вообразите, мне показалось, что он угомонился, но – позор человечества! – в это же время я вдруг заметил, что из всех его окружающих на меня не смотрит ни один человек и все они держат своих коней как можно плотнее к нему, чтобы оттереть меня от него или оборонить от меня. Вообще, не знаю, что такое они хотели, но во всяком случае что-то противное и глупое.

Я осадил своего коня и, поравнявшись с тем горцем, который доставал мед, поехал с ним рядом.

Только здесь теперь, в безмолвном соседстве этого отважного дикаря, я почувствовал, как я сам был потрясен и взволнован. С ним мне было несравненно приятнее, чем в важной свите, составленной из людей, которые сделались мне до того неприятны, что я не хотел дышать с ними одним воздухом и решился на первой же остановке распротиться с герцогом и уехать в Испанию или хоть в Америку...»

– Прекрасно! – перебил Мак.

– Нет, ты подожди, что будет еще далее! – вставил Пик.

– Я всему предпочел бы, чтобы он сдержал это намерение и этим кончил.

– Нет, ты услышишь! Другие вскричали:

– Да ну вас к черту с вашими переговорами! Письмо гораздо интереснее, чем ваши реплики!.. Читай, Пик, читай!

Пик продолжал чтение.

Глава десятая

«Я был очень зол на себя, что предпринял это путешествие с герцогом, на которого, признаться сказать вам, я, однако, не питал ни гнева, ни злобы. Все это у меня ушло почему-то на долю его окружающих. Настроение было препротивное: все молчали. Так мы доехали до ночлега, где нам было приготовлено сносное для здешней дикой страны помещение. Все имели лица с самым натянутым, а некоторые с смешным и даже с жалким выражением. Если бы я не был очень недоволен собою, то я всего охотнее занялся бы занесением в мой альбом этих лиц, рассматривая которые всякий порядочный человек, наверное, сказал бы: „Вот та компания, в которой не пожелаешь себя увидеть в серьезную минуту жизни!“ Но мне было не до того, чтобы их срисовывать. Притом же это было бы уже крайне грубо. Я теперь имел твердое намерение немедленно же отстать от них и ехать в Америку.

Не понижая своего тона и способа держаться, я не старался и скрывать своего раздражения, – я отдалился от компании и не хотел ни есть, ни спать под одну с ними кровлей. Я отошел в сторону и лег на траве над откосом и вдруг захотел спать. Этим в моей счастливой организации обыкновенно выражается

кризис моих волнений: я хочу спать, и сплю, и во сне мои досаждения проходят или по крайней мере смягчаются и представляются мне после в более сносном виде. Но я не успел разоспаться, как кто-то тронул меня за плечо; я открыл глаза и увидел герцога, который сидел тут же, возле меня, на траве и, не позволяя мне встать, сказал:

– Простите меня, что я вас разбудил. Я не ожидал, что вы так скоро уснули, а я отыскал вас и хочу с вами говорить.

И сейчас же вслед за этим он стал горячо извиняться в своей запальчивости. На меня это страшно подействовало, и я старался его успокоить, но он с негодованием говорил о своей „проклятой привычке“ не удерживаться и о ничтожестве характеров окружающих его людей. Он был так искренен и так умен и мил, что я забыл ему все неприятное и зашел в своем порыве дальше, чем думал. Может быть, я сделал большую глупость, но это уже непоправимо. Я, наверное, удивлю вас. Да! узнайте же, мои друзья, что я себе наметил место, и теперь пришло время выслать мне мои вещи, но не на мое имя, а на имя (Герцога, так как я, как друг его, отправляюсь с ним в его страну... Да, мои друзья, да, я называю его „другом“ и еду к нему. Это решено и не может быть переменено, а решено это тут же, на этом ночлеге, среди диких скал, каплю-

щих диким медом. Не я просился к нему и набивался с моею дружбой, а он просил меня „не оставлять его“ и ехать с ним в его страну, где я встречу для себя большое поприще и, конечно, окажу услуги искусству, а вместе с тем и ему. Герцог – испорченная, но крупная натура, и я хочу быть полезен ему; его стала любить моя душа за его искренние порывы, свидетельствующие о несомненном благородстве его природы, испорченной более всего раболепною и льстивою средой. Я могу внести и, конечно, внесу в эту среду иное. А кстати, еще об этой природе и об этой среде. Среда эта удивительна, и вам трудно составить себе о ней живое понятие. Я уже писал вам, как после истории с медом на кинжале эти люди смешно от меня удалялись, но они еще смешнее опять со мною сблизились: это случилось за ужином, к которому он подвел меня под руку, а потом вскоре сказал:

– Удивительно, как сильно влияет на человека такой грубый прибор, как его желудок: усталость и голод в течение знойного дня довели меня до несправедливости перед нашим художественным другом, а теперь, когда я сыт и отдохнул, я ощущаю полное счастье от того, что умел заставить себя просить у него извинения.

Это произвело на всех действие магическое, а когда герцог добавил, что он уверен, что кто любит его,

тот будет любить и меня, то усилиям показать мне любовь не стало предела: все лица на меня просияли, и все сердца, казалось, хотели выпрыгнуть ко мне на тарелку и смешаться с маленькими кусками особливим способом приготовленной молодой баранины. Мне говорили:

– Не тужите о родине, которая вас отвергла! У нас будет один отец и одна родина, и мы все будем любить вас, как брата!

Все это у них делается так примитивно и так просто, что не может быть названо хитростью и неспособно обмануть никого насчет их характеров, и мне кажется, что я буду жить по крайней мере с самыми бесхитростными людьми в целом свете».

Письмо кончалось лаконической припиской, что следующие известия будут присланы уже из владений герцога, И Пик, дочитав лист, стал его многозначительно складывать и спросил Мака:

– Ну, как тебе это нравится?

– Недурно для начала, – процедил неохотно Мак и сейчас же добавил, что это напоминает ему рассказ об одном беспечном турке.

– Каком турке? – переспросил Пик.

– Которого однажды его падишах велел посадить на кол.

– Я ничего не понимаю.

– Все дело в том, что когда этого турка посадили на кол, он сказал: «Это недурно для начала», и стал опускаться.

– Что же тут сходного с положением нашего товарища?

– Фебуфис сел на кол и опускается.

– Ты отвратительно зол, Мак!

– Нет, я не зол.

– Ну, завистлив.

– Еще выдумай глупость!

– Тебе это письмо не нравится?

– Не нравится.

– Что же именно тебе в нем не нравится: мед, кинжал, сцена у скал, сцена с альбомом?

– Мне не нравится сцена с желудком!

– То есть?

– Я не люблю положений, в которых человек может чувствовать себя в зависимости от расположения желудка другого человека.

– Ну, вот!

– Да, и в особенности гадко зависеть от расположения желудка такого человека, по гримасам которого к тебе считают долгом оборачиваться лицом или спиной другие. Согласясь жить с ними, Фебуфис сел на кол, и тот, кто стал бы ему завидовать, был бы слепой и глупый человек.

– Ты, кажется, назвал меня глупцом? Мак посмотрел на него и заметил:

– Кажется, ты ко мне хочешь придирааться?

– А если бы и так! Мак промолчал.

– Ты, наверное, желаешь этим пренебречь. Мак молча повел плечами и хотел встать.

– Нет, в самом деле? – приставал к нему Пик, слегка заграждая ему путь рукой.

Мак тихо отвел его руку, но Пик стал ему на дороге и, покраснев в лице, настоятельно сказал:

– Нет, ты не должен отсюда уходить!

– Отчего я не могу уходить?

– Я вызываю тебя на дуэль! Мак улыбнулся.

– За что на дуэль? – сказал он, тихо поднимая себе на плечо свою альмавиву.

– За все!., за то, что ты мне надоедал своими насмешками, за то, что ты издеваешься над отсутствующим товарищем, который... которого... которому...

– Распутайся и скажи яснее...

– Мне все ясно... который поднимает имя и положение художника, которого я люблю и хочу защищать, потому что он сам здесь отсутствует, и которому ты... которому ты, Мак, положительно завидуешь.

– Теперь ты в самом деле глуп.

– Что же с этим делать?

– Не знаю, но я уйду.

– Уходишь?

– Да.

– Так ты трус, и вот тебе оскорбление! – и с этим Пик бросил Маку в лицо бутылочную пробку.

Мак побледнел и, схватив Пика за шиворот, поднял его к открытому окну на улицу и сказал:

– Ты можешь видеть, что мне ничего не стоит вышвырнуть тебя на мостовую, но...

– Нет, идем сейчас в фехтовальный зал.

– Но ведь это глупо!

– Нет, идем! Я тебя зову... я требую тебя в фехтовальный зал! – кричал Пик.

– Хорошо, делать нечего, идем. Но ты знаешь что?

– Что?

– Я там непременно обрублю тебе нос.

Пик от бешенства не мог даже ответить, а через час друзья, бывшие в зале свидетелями неосторожного фехтовального урока, уводили его под руки, и Пик в самом деле держал носовой платок у своего носа. Мак в точности сдержал свое обещание и отрезал рапирой у Пика самый кончик носа, но не такой, как режут дикари, надевающие носы на вздержку, а только самый маленький кончик, как самая маленькая золотая монета папского чекана.

Честь обоих художников была удовлетворена, как требовали их понятия, все это повело к неожиданным

и прекрасным последствиям. О событии с носом Пика никто не сообщал Фебуфису, но от него в непродолжительном же времени было получено письмо, в котором, к общему удивлению, встретилось и упоминание о носе. В этом письме Фебуфис уже описывал столицу своего покровителя. Он очень сдержанно говорил о ее климате и населении, не распространялся и об условиях жизни, но зато очень много и напыщенно сообщал об открытой ему деятельности и о своих широких планах.

Это должно было выражать и обхватывать что-то необъятное и светлое, как в прямом, так и в иносказательном смысле: чувствовалось, что в голове у Фебуфиса как будто распустил хвост очень большой павлин, и художник уже положительно мечтал направлять герцога и при его посредстве развить вкус в его подданных и быть для них благодетелем: «расписать их небо».

Ему были нужны помощники, и он звал к себе товарищей. Он звал всех, кто не совсем доволен своим положением и хочет более широкой деятельности (деньги на дорогу можно без всяких хлопот получать от герцога представителя в Риме).

Особенно он рекомендовал это для Пика, про которого он каким-то удивительным образом узнал его историю с носом и имел слабость рассказать о ней гер-

цогу (герцога все интересует в художественном мире). Правда, что нос заставил его немного посмеяться, но зато самый характер доброго Пика очень расположил герцога в его пользу. При этом Фебуфис присовокуплял, что для него самого приезд Пика был бы очень большим счастьем, «потому что как ему ни хорошо на чужбине, но есть минуты...»

Пик скомкал письмо и вскрикнул:

– Вот это и есть самое главное! Я его узнаю и понимаю: как ему там ни хорошо, но тем не менее он чувствует, что «есть минуты», – я понимаю эти минуты... Это когда человеку нужна родная, вполне его понимающая душа... Я ему благодарен, что он в этих размышлениях вспомнил обо мне, и я к нему еду.

Пику советовали хорошенько подумать, но он отвечал, что ему не о чем думать.

– По крайней мере дай хорошенько зажить твоему носу.

Он вздохнул и отвечал:

– Да, хотя Мак и оскоблил мне кончик носа и мне неприятно, что мы с ним в ссоре, но я с ним помирюсь перед отъездом, и он, наверное, скажет, что мне там приставят нос.

Затем Пик без дальнейших размышлений стал собираться и, прежде чем успел окончить свои несложные сборы, как предупредительно получил сумму де-

нег на путешествие.

Этим последним вниманием Пик был так растроган, что «хотел обнять мир» и начал это с Мака.

Глава одиннадцатая

Он побежал к Маку, кинулся ему на шею и заговорил со слезами:

– Что же это, милый Мак, неужто мы всё будем в ссоре? Я пришел к тебе, чтобы помириться с тобою и прижать тебя к моему сердцу.

– Рад и я и отвечаю тебе тем же.

– Ведь я люблю тебя по-прежнему.

– И я тоже тебя люблю.

– Ты так жесток, что не хотел сделать ко мне шага, но все равно: я сам сделал этот шаг. Для меня это даже отраднее. Не правда ли? Я бегом бежал к тебе, чтобы сказать тебе, что... там... далеко... куда я еду...

– Ах, Пик, для чего ты туда едешь?

– Между прочим для того, чтобы ты мог шутить, что мне там приставят нос.

– Я вовсе не хочу теперь шутить и самым серьезным образом тебя спрашиваю: зачем ты едешь?

– Это не мудрено понять: я еду, чтобы жить вместе с нашим другом Фебуфисом и с ним вместе совершить службу искусству и вообще высоким идеям. Но ты опять улыбаешься. Не отрицай этого, я подстерег твою улыбку.

– Я улыбаюсь потому, что, во-первых, не верю в воз-

можность служить высоким идеям, состоя на службе у герцогов...

– А во-вторых?.. Говори, говори все откровенно!

– Во-вторых, я ни тебя, ни твоего тамошнего друга не считаю способными служить таким идеям.

– Прекрасно! Благодарю за откровенность, благодарю! – лепетал Пик, – и даже не спорю с тобою: здесь мы не велики птицы, но там...

– Там вы будете еще менее, и я боюсь, что вас там оциплют и слопают.

– Почему?

– О, черт возьми, – еще почему? Ну, потому, что у тамошних птиц и носы и перья – все здоровее вашего.

– Грубая сила не много значит.

– Ты думаешь?

– Я уверен.

– Дитя! А я тебе говорю: оциплют и слопают. Это не может быть иначе: грач и ворона всегда разорвут мягкоклювую птичку, и вдобавок еще эта ваша разнужданная художественность... Вам ли перевернуть людей упрямых и крепких в своем невежестве, когда вы сами ежеминутно готовы свернуться на все стороны?

– Я прошу тебя, Мак, не разбивай меня: я решил.

– Ты просишь, чтобы я замолчал?

– Да.

– Хорошо, я молчу.

– А теперь еще одна просьба: ты не богат и я не богат... мы оба равны в том отношении, что оба бедны...

– Это и прекрасно, зато до сих пор мы оба были свободны и никому ничем не обязаны.

– Не обязаны!.. Ага! Тут опять есть шпилька: хорошо, я ее чувствую... Ты и остаешься свободным, но я теперь уже не свободен, – я обязан, я взял деньги и обязан тому, кто мне дал эти деньги, но я их зарабатую и отдам.

– Да; по крайней мере не забывай об этом и поспеши отдать долг как можно скорее.

– Я тебе даю мое слово: я буду спешить. Фебуфис пишет, что там много дела.

– Какого?.. «Расписывать небо», или писать баталии, или голых женщин на зеркалах в чертогах герцога?

– Ну, все равно, ты всегда найдешь, чем огорчить меня и над чем посмеяться, но я к тебе с такою просьбой, в которой ты мне не должен отказать при разлуке.

– Пожалуйста, говори ее скорее.

– Нет, ты дай прежде слово, что ты мне не откажешь.

– Я не могу дать такого слова.

– Видишь, как ты упрям.

– Это не упрямство: нельзя давать слов и обещаний, не зная, в чем дело.

– Ты, как художник, любишь славу?

– Любил.

– А теперь разве уже не любишь?

– Теперь не люблю.

– Что же это значит?

– Это значит, что я узнал нечто лучшее, чем слава.

– И любишь теперь это «нечто» лучше более, чем известность и славу?.. Прекрасно! Я понимаю, о чем ты говоришь: это все про народные страдания и прочее, в чем ты согласен с Джузеппе... А знаешь, есть мнение... Ты не обидишься?

– Бывают всякие мнения.

– Говорят, что он авантюрист.

– Это кто?

– Твой этот Гарибальди, но я знаю, что ты его любишь, и не буду его разбирать.

Мак в это время тщательно обминал рукой стеариновый оплыв около светильни горевшей перед ними свечи и ничего не ответил. Пик продолжал:

– Я не понимаю только, как это честный человек может желать и добиваться себе полной свободы действий и отрицать такое же право за другими? Если хочешь вредить другим, то не надо сердиться и на них, когда они защищаются и тоже тебе вредят...

– Говори о чем-нибудь другом! – произнес Мак.

– Да, да; правда: это не в твоём роде, и ты уже сер-

дишься, а я все это виляю оттого, что боюсь сказать тебе прямо: мне прислали на дорогу денег.

– Поздравляю.

– И я нахожу, что мне много присланных денег...

Мак, осчастливь меня: возьми себе из них половину, чтобы иметь возможность написать свою большую картину.

– Отойди, сатана! – отвечал Мак, шутливо отстраняя от себя Пика, который вдруг выхватил из кармана бумажник и стал совать ему деньги.

– Возьми!.. Умоляю! – приставал Пик.

– Ну, перестань, оставь это.

– Отчего же? Неужто тебе весь век все откладывать произведение, которое сделает тебя славным в мире, и мазикать на скорую руку для продажи твои маленькие жанры?

– Я не вижу в этом ни малейшего горя: мои маленькие жанры делают дело, которое лучше самой большой картины.

– Ну, мой друг! что обольщаться напрасно?

– Я не обольщаюсь.

– Посмотри, сколько твоих жанров висят по тавернам: их и не видит лучшее общество.

– Лучшее общество! А черт его побери, это лучшее общество! Оно для меня ничего не делает, а мои жанры меня кормят и шевелят кое-чью совесть. Особен-

но радуюсь, что они есть по тавернам. Нет, мне чужих денег не нужно, а если у тебя так много денег, что они тебе в тягость, то толкнись в домик к Марчелле и спроси: нет ли ей в них надобности?

– Марчелла! Ах, добрый Мак, это правда. Я ему, однако, напомню о ней... я заставлю его о ней подумать...

– Нет, не напоминай! Найдется такой, который запомнит! Пойдем в таверну и будем лучше пить на прощанье. Ни о чем грустном больше ни слова.

Друзья надели шляпы и пошли в таверну, где собрались их другие товарищи, и всю ночь шло пированье, а на другой день Пика усадили в почтовую карету и проводили опять до той же станции, до которой провожали Фебуфиса. Карета умчалась, и Пик под звук почтальонского рожка прокричал друзьям последнее обещание: «писать все и обо всем», но сдержал свое обещание только отчасти, и то в течение очень непродолжительного времени.

Мак видел в этом дурной признак: наивный, но честный и прямодушный Пик, без сомнения, в чем-нибудь был серьезно разочарован, и, не умея лгать, он молчал. Спустя некоторое время, однако, Пик начал писать, и письма его в одно и то же время подкрепляли подозрения Мака и приносили вести сколько интересные, столько же и забавные.

Глава двенадцатая

Для начала он, разумеется, описывал в них только свою встречу с Фебуфисом и как они оба в первую же ночь «напились по-старинному, вспоминая всех далеких оставшихся в Риме друзей», а потом писал о столице герцога, о ее дорогом стоящих, но не очень важных по монтажке музеев, о состоянии искусства, о его технике и направлении и о предъявляемых к нему здесь требованиях. Все это, в настоящем художественном смысле, для людей, понимающих дело, было жалко и ничтожно, но затем содержание писем изменялось, и Пик скоро забредил о женщинах. Он неустанно распространялся о женщинах, в изучении которых вдруг обнаружил поразившие Мака разносторонние успехи. По его описаниям выходило, что в этой стране всего лучше женщины. Особенно он превозносил их милую женственность и их удивительную скромность. «Самый амур здесь совершает свой полет не иначе, как благословясь и в тихом безмолвии, на бесшумных крылышках, – писал Пик. – Кто чувствует склонность к семейной жизни и желает выбрать себе верную и достойную подругу, тот должен ехать сюда, и здесь он, наверное, найдет ее. Сам герцог – образцовый супруг, и, любя семейную жизнь,

он покровительствует бракам. Это дает патриархальный тон и направление жизни. Случается, что герцог сам даже был сватом и после заботится о новобрачных, которых устроил. Девушки в хороших семействах здесь так тщательно оберегаются от всего, что может вредить их целомудрию, что иногда не знают самых обыкновенных вещей, – словом, они наивны и милы, как дети. Очень скромны и взрослые. Такова жизнь. Что везде считается вполне позволительным, как, например, обедать в ресторанах или ходить и ездить одной женщине по городу, – здесь все это почитают за неприличие. Ни одной сколько-нибудь порядочной женщины не встретишь в наемном экипаже и не увидишь в самом лучшем ресторане. Если бы женщина пренебрегла этим, то ее сочли бы падшею, и перед нею не только закрылись бы навсегда все двери знакомых домов, но и мужчины из прежних знакомых позволили бы себе с нею раскланяться разве только в густые сумерки. О девушках нечего и говорить: они под постоянною опекой. Я часто сравниваю все это с тем, что видел раньше среди римлянок и наезжих в ваш „вечный город“ иностранок, и мне здесь и странно и нравится, я чувствую себя тут точно в девственном лесу, где все свежо, полно сил и... странная вещь! – но я вспоминаю тебя, Мак, и начинаю размышлять социально и политически. А почему? А вот почему: ты

все любишь размышлять об упадке нравов и об общих бедствиях и ищешь от них спасения... Ах, друг! может быть, спасение-то именно здесь, где стоит воле захотеть, чтобы что-нибудь сделалось, и оно сейчас же становится возможным, а не захотеть – все станет невозможно? И все это оттого, что жизнь удержана в удобной форме».

Дочитав письмо до этого места, Мак положил листок и стал собирать на него мастихином загустевшие на палитре краски. Соображения Пика его более не интересовали, а на вопросы товарищей о том, что пишет Пик, он отвечал:

– Пик пишет, что он живет в таком любопытном городе, где женщины целомудренны до того, что не знают, отчего у них рождаются дети.

– Вот так раз!

– Что же? Этим ведь, пожалуй, можно быть довольным, – заметили другие и стали делать по этому случаю различные предположения.

– Да, – отвечал Мак, – и он этим очень доволен.

– По-моему, он там может неожиданно и скоро жениться.

– А отчего и нет, если там это выгодно?

– В таких местах что больше и делать! – заключил Мак, – или учиться или жениться. Учиться трудно – жениться занятнее.

На письмо же то, о которое Мак вытер свой мастихин, он вовсе не отвечал Пику, но, вспоминая иногда о приятеле, в самом деле думал, что он может жениться.

– Отчего, в самом деле, нет? Ведь несомненно, что есть такой сорт деятелей, которые прежде начала исполнения всяких своих планов надевают себе на шею эту расписанную колодку. Почему же не сделать этого и Пик, или даже они оба там с этого начнут и, пожалуй, на этом и кончат.

И подозрение еще усиливалось тем, что в новом письме Пик писал уже не о женщинах вообще, а особенно об одной избраннице, которую он в шаловливом восторге называл именем старинной повести: «Прелестная Пеллегринна, или Несравненная жемчужина». Он о ней много рассказывал. Мак должен был узнать из этого письма, что «прелестная Пеллегринна» была дочь заслуженного воина, покрытого самыми почтенными сединами, ранами и орденами. Пеллегринна получила от природы милое, исполненное невинности лицо, осененное золотыми кудрями, а герцог дал ей за заслуги отца на свой счет самое лучшее образование в монастыре, укрывавшем ее от всяких соблазнов во все годы отрочества. Пик увидал ее первый раз на выпускном экзамене, где она пела, как Пери, одетая в белое платье, и, рыдая, проща-

лась с подругами детства, а потом произошла вторая, по-видимому, очень значительная встреча на летнем празднике в загородном герцогском замке, где Пеллегринна в скромном уборе страдала от надменности богато убранных подруг, которые как только переоделись дома, так и переменялись друг к другу. Тут зато Пеллегринна показала ум и характер: она все видела и поняла, но совсем не дала заметить, что страдает от окружающей кичливости, и тем до того заинтересовала маленького Пика, что он познакомился с их домом и стал здесь как родственник. Он то играет в шахматы с воином, покрытым сединами, то ходит по лесам и полям с Пеллегринною. Отец Пеллегринны – добродушный простяк, бесконечно ему верит и только посылает с ними заслуженную и верную служанку (он сам давно вдов и на войне храбр, но дома, в недрах своего семейства, кротче агнца). Впрочем, Пик и Пеллегринна пока только собирают бабочек и букашек, причем наивность Пеллегринны доходит до того, что она иногда говорит Пику: «Послушайте, вы художник, посмотрите, пожалуйста, – вы должны знать – это букан или букашка?»»

Мак не стал отвечать и на это письмо, а затем от Пика пришел только листочек с описанием маскарадов, которые ему казались верхом жизненного великолепия, и с возвещением о большом путешествии,

которое он и Фебуфис намеревались сделать летом с художественною целью внутрь страны. На том переписки друзей оборвалась.

В Риме если не совсем позабыли о Фебуфисе и о Пике, то во всяком случае к ним охладели и весь случай с Фебуфисом вспоминали как странность, как каприз или аристократическую прихоть герцога.

– В самом деле, для чего этому отдаленному властителю Фебуфис? Чего он с ним возится? Неужто он в самом деле так страстно любит искусство, или он не видал лучшего художника? Не следует ли видеть в этом сначала каприз и желание сделать колкость черным королям Рима? Неужто, в самом деле, в девятнадцатом веке станут повторяться Иоанн с Лукой Крананом? Вздор! Совсем не те времена, ничто не может их долго связывать, и, без сомнения, фавор скоро отойдет, и герцог его бросит.

– А может быть, его немножко удержит трусость.

– Перед кем и перед чем?

– Перед талантливым художником, который всегда может найти средство отплатить за дурное с собою обращение.

– Какие глупости! Какие наивные, детские глупости! Что вы о себе и о них думаете? Какое это средство? – спросил Мак.

– Полотно, на котором можно все увековечить. А

Фебуфис всегда останется талантом. Мак махнул рукою и сказал:

– Вы дети! Поверьте, что тому, кому вверил себя упоминаемый вами «талант», никакой стыд не страшен. Он, я думаю, почел бы за стыд знать, что такое есть боязнь стыда; а что касается «таланта», то с ним расправа коротка: ничто не помешает оставить этот талант и без полотна, и без красок, и даже без божьего света. Да и без того... этот талант выцветет... Не забывайте, что птицы с яркоцветным оперением, перелиняв раз в клетке, утрачивают свою красивую окраску.

– Но зато они выигрывают в некоторых других отношениях.

– Да, они обыкновенно жиреют, перестают дичиться, утрачивают легкость и подвижность – вообще становятся, что называется, ручными.

Но нам время оставить теперь этих пессимисток и оптимистов и последовать за Фебуфисом и Пиком, с которыми, в их новой обстановке, произошли события, имевшие для них роковое значение.

Глава тринадцатая

По прибытии в столицу своего покровителя Фебуфис не был им покинут и позабыт. Напротив, он тотчас же был прекрасно устроен во всех отношениях и не лишался даже знаков дружбы и внимания, которыми пользовался во время путешествия. Конечно, теперь они виделись реже и беседовали при других условиях, но все-таки положение Фебуфиса было прекрасное и возбуждало зависть в местном обществе, и особенно среди приближенных герцога. Повелитель, которого боялись и трепетали все его подданные, держал себя с привезенным художником запросто, и Фебуфис этой линии не портил. К чести его, он значительно изменился и, вкусив мало меду на кинжале, посбавил с себя заносчивости, а держался так скромно, как этого требовало положение. Участие в придворной жизни его не тяготило: сначала это ему было любопытно само по себе, а потом стало интересно и начало втягивать как в пучину... Еще позже это стало ему нравиться... Как никак, но это была жизнь: здесь все-таки шла беспрестанная борьба, и кипели страсти, и шевелились умы, созидавшие планы интриг. Все это похоже на игру живыми шашками и при пустоте жизни делает интерес. Фебуфис стал чувство-

вать этот интерес.

Такою вовсе не рассчитанною и не умышленною переменной в своем поведении Фебуфис чрезвычайно утешил своего покровителя, и герцог стал изливать на него еще большие милости. Художнику дали отличное помещение, усвоили ему почетное звание и учредили для него особенную должность с большим содержанием и с подчинением ему прямым или косвенным образом всех художественных учреждений. Положение Фебуфиса в самом деле как будто готовилось напоминать некоторым образом положение Луки Кранаха. Правда, не все смотрели на это серьезно, но, по мнению многих, Фебуфис будто мог уже оказывать влияние на отношение своего могущественного протектора к людям разнообразных положений, и у него явились ласкатели и искатели. Когда герцог посещал его мастерскую, он в самом деле говорил не об одном искусстве, а и о многом другом, о чем не все смели надеяться иметь с ним беседы. Человека с таким положением привечали лица, занимающие самые высокие и почетные должности. Фебуфис быстро очутился в так называемом лучшем обществе и здесь тоже держал себя с большим достоинством. Для приобретения веса и значения в этом обществе ему не нужно было употреблять никаких усилий, все давалось ему даром, но все это ему скоро прискучило. Герцог тотчас

заметил это и сказал ему: «Ты не в своей компании» – и предложил ему выписать к себе кого-нибудь из его римских друзей, причем сам же и назвал Пика.

Пик, сколь известно, был выписан и представлен герцогу, но он ему не понравился, – герцог нашел, что «он очень смешон», и велел назначить его преподавателем искусств в избранном воспитательном женском заведении, что и погубило Пика, сблизив его с златокудрою дочерью покрытого сединами воина.

С прибытием Пика Фебуфису стало веселее; они работали и понемножку предавались кутежам, в которых, впрочем, находили здесь только хмельной чад, но не веселье. Оба они чувствовали себя здесь не по себе, и оба друг от друга это скрывали. Иногда они собирались оказать какое-то большое влияние на что-то в искусстве, но всякий раз это кончалось ничем. Обо всем надо спрашивать у герцога, а он не любил не им задуманных перемен. Фебуфис скоро понял, что шнурок, на котором он ходит, довольно короток, а Пик в пределах своей деятельности попробовал быть смелее: он дал девицам рисовать торсы, вместо рыцарей в шлемах, и за это, совершенно для него неожиданно, был посажен на военную гауптвахту «без объяснений». Это его так обидело, что он тотчас же хотел бросить все и уехать в Рим, но вместо того, отечески прощенный герцогом, тоже «без объяс-

нений», почел эту неприятность за неважное и остался.

– Что делать, если это здесь бывает со всеми!

Работать друзья могли только по заказам герцога, и он же был и ценителем их произведений. В искусстве все зависело от него, как и во всем прочем: он осматривал все произведения учеников с мелом в руке и писал своею рукой на картине свое безапелляционное решение. Фебуфис – их главный руководитель – при этом только стоял и молчал. Пик говорил ему: «Для чего ты не возразишь?» – но тот не возражал. Без сомнения, он понимал, что находится здесь только для вида и для парада. Программы допускались только старые, совсем не отвечавшие новым живым стремлениям, обозначавшимся уже в других европейских школах. В Риме слышали об этом «академизме» и смеялись над ним. Фебуфису по-настоящему надо было сознаться, что его положение несносно, и уйти от него, но в нем жила фальшивая гордость: он не хотел быть синицею, которая летала нагревать шилом море. Он решался лучше кое-что перенести и пошел по этой дороге уступок, чувствуя, что она вьется куда-то, все понижаясь, под гору, но раздражительно отрицал это, коль скоро то же самое замечали другие. В таких борениях ему был тяжек и Пик, и еще более некоторые умные люди из местных, и особенно глав-

ный начальник внутреннего управления, по фамилии Шер, который сам слыл за художника и в самом деле разумел в искусстве больше, чем герцог. Этот, как его называли, «внутренний Шер», был умен, пьян и бесстыден и допускал со всеми очень странное, фамильярное обращение, близко граничившее с наглостью. Фебуфиса он, по-видимому, считал ниже, чем бы тому хотелось, и называл его «величайшим мастером по утвержденному герцогом образцу».

Это приводило Фебуфиса в досаду, но тем не менее кличка плотно к нему пристала.

И директор был не один, который смотрел на приведенного герцогом фаворитного артиста как на что-то полусмешное-полужалкое, из чего, может быть, где-то, пожалуй, и сделали бы что-нибудь ценное, но из чего здесь ничего выйти не должно и не выйдет. Все это, однако, нимало не помешало Фебуфису прогреметь в стране, сделавшейся его новым отечеством, за величайшего мастера, который понял, что чистое искусство гибнет от тлетворного давления социальных тенденций, и, чтобы сохранить святую чашу неприкосновенную, он принес ее и поставил к ногам герцога. Герцог ее не оттолкнул, как он не отталкивает ничего, что можно спасти. Приезжие мастера заставляли будто завидовать столице герцога всё те страны, где искусство падало, нисходя до служебной роли граж-

данским и социальным идеям. И за то они отблагодарят герцога, – они в угоду ему распишут небо. Пика это не испортило, потому что при ограниченности его дарования он оставался только тем, чем был, но Фебуфис скоро стал замечать свою отсталость в виду произведений художников, трудившихся без покровителей, но на свободе, и он стал ревновать их к славе, а сам поощрял в своей школе «непосредственное творчество», из которого, впрочем, выходило подряд все только одно очень посредственное. Общий европейский восторг при появлении картины Каульбаха «Сражение гуннов с римлянами», наконец, был нестерпимым ударом для его самолюбия. Фебуфис почувствовал, что вот пришел в мир новый великий мастер, который повлечет за собою последователей в идейном служении искусству. Тогда Фебуфис решительно стал на сторону противоположного направления, а герцог это одобрил и поручил ему «произвести что-нибудь более значительное, чем картина Каульбаха». Внутренний Шер его расцеловал и сказал ему за обедом в клубе на «ты»:

– Пришло твое время прославиться!

По герцогскому приказу Фебуфис начал записывать огромное полотно, на котором хотел воспроизвести сюжет еще более величественный и смелый, чем сюжет Каульбаха, – сюжет, «где человеческие характеры

были бы выражены в борьбе с силой стихии», – поместив там и себя и других, и, вместо поражения Каульбаху, воспроизвел какое-то смешение псевдоклассицизма с псевдонатурализмом. В Европе он этим не удивил никого, но герцогу угодил как нельзя более.

– Тебе это удалось, – сказал герцог, – но всего более похвально твое усердие, и оно должно быть награждено.

Ему отпустили большие деньги и велели газетам напечатать ему похвалы. Те сделали свое дело. Была попытка поддержать его и в Риме, но она оказалась неудачною, и суждения Рима пришлось презирать.

– Они не хотят видеть ничего, что явилось не у них; чужое их не трогает, – объяснял герцогу Фебуфис.

– Ты это прекрасно говоришь: да, ты им чужой.

– С тех пор как я уехал сюда...

– Ну да!., ты мой!

– Им кажется, что я здесь переродился.

– Это и прекрасно. Ты мой!

– Нет, они думают, что я все позабыл...

– Забыл глупости!

– Нет – разучился.

– А вот пусть они приедут и посмотрят. Это все зависть!

– Не одна зависть, – я знаю, что они мне не прощают...

– Что же это такое?

– Измену.

– Чему?

– Задачам искусства.

Герцог сел на высокий табурет против мольберта и произнес дидактически:

– Задачи искусства – это героизм и пастораль, вера, семья и мирная буколика, без всякого сованья носа в общественные вопросы – вот ваша область, где вы цари и можете делать что хотите. Возможно и историческое, я не отрицаю исторического, но только с нашей, верной точки зрения, а не с ихней. Общественные вопросы искусства не касаются. Художник должен стоять выше этого. Такие нам нужны! Ищи таких людей, которые в этом роде могут быть полезны для искусства, и зови их. Обеспечить их – мое дело. Можно будет даже дать им чины и форму. У меня они могут творить, ничем не стесняясь, потому что у меня ведь нет никаких тревог, ни треволнений. Только трудись. Я хочу, чтобы наша школа сохранила настоящие, чистые художественные предания и дала тон всем прочим. Обновить искусство – это наше призвание.

Фебуфис понимал, что все это несбыточный вздор, и ничего не хотел делать, а между тем из-за границы его уязвляла критика. Один из лучших тогдашних судей искусства написал о нем, что «во всей его кар-

тине достоин похвалы только правильный и твердый рисунок, но что ее мертвый сюжет представляет что-то окаменевшее, что идея если и есть, то она рутинна и бесплодна, ибо она не поднимает выше ум и не облагораживает чувства зрителя, – она не трогает его души и не стыдит его за эгоизм и за холодность к общему страданию. Художник будто спал где-то в каком-то заколдованном царстве и не заметил, что в искусстве уже началось живое веяние, и здравый ум просвещенного человека отказывается высоко ценить художественные произведения, ласкающие одно зрение, не имеющие возвышающей или порицающей идеи. Теперь чем такие бедные смыслом произведения совершеннее в своем техническом исполнении, тем они укоризненнее и тем большее негодование должны поднимать против художника». А потому критик решительно не хотел признать никаких замечательных достоинств в произведении, которым Фебуфис должен был прославить свою школу, и вдобавок унизил его тем, что стал объяснять овладевшее им направление его несвободным положением, всегда зависящим от страха и фавора; он называл дальнейшее служение искусству в таком направлении «вредным», «ставил над художником крест» и давал ему совет, как самое лучшее по степени безвредности, «изображать по-старому голых женщин, кото-

рыми он открыл себе фортуна».

Фебуфис был страшно уязвлен этим «артиклем». Он никак не ожидал видеть себя смещенным и развенчанным так скоро и так решительно. Он ощутил в себе неудержимый позыв дать горделивый отпор, в котором не намерен был вступаться за свое произведение, но хотел сказать критику, что не он может укорять в несвободе художника за то, что он не запрягает свою музу в ярмо и не заставляет ее двигать топчак на молотилке; что не им, слугам посторонних искусству идей, судить о свободе, когда они не признают свободы за каждым делать что ему угодно; что он, Фебуфис, не только вольней их, но что он совсем волен, как птица, и свободен даже от предрассудка, желающего запрячь свободное искусство в плуг и подчинить музу служению пользам того или другого порядка под полицейским надзором деспотической критики. И многое еще в этом же задорно-сконфуженном роде собрал Фебуфис, не замечая, что сквозь каждое слово его отповеди звучало сознание, что он на чем-то пойман и в споре своем желает только возбудить шумиху слов, чтобы запутать понятия ясные, как солнце. У него кстати оказался и стиль, благодаря чему в отповеди очень сносно доказывалось, что «для искусства безразличны учреждения и порядки и что оно может процветать и идти в гору при всяком поло-

жении и при всяких порядках».

Лучше написать это, как написал Фебуфис, даже не требовалось, но Пик, которому он читал свои громы, говорил, что он все это уже как будто раньше где-то читал или где-то слышал. И Фебуфис сердился, но признавал, что это, однако, правда. Да ведь нового и нет на свете... Все уже когда-нибудь было сказано, но почему это же самое опять не повторить, когда это уместно? Впрочем, чтобы отвечать от лица школы целой страны, надо, чтобы дело имело надлежащую санкцию, и потому автор решил представить свой труд самому герцогу. Это ему внушало спокойствие и дало всему действительно самое лучшее направление.

Глава четырнадцатая

Выбрав удобный случай, чтобы представить свою рукопись герцогу, Фебуфис волновался в ожидании его ответа, а тот не отвечал очень долго, но, наконец, в один прекрасный день перед наступлением нового года художник получил приглашение от директора иностранных сношений – того самого искусного и ласкового дипломата, который некогда посетил вместе с герцогом его студию в Риме.

Годы не изменили мягких манер этого сановника: он встретил Фебуфиса чрезвычайно радушно и весело поздравил его с большим успехом у герцога.

– Ваш ответ вашим озлобленным завистникам привел в совершенный восторг герцога, – начал он, усаживая перед собою художника. – Его светлость изволил поручить мне выразить вам его полное сочувствие вашим прекрасным мыслям, и если при этом могут иметь какое-нибудь значение мои мнения, то я позволю себе сказать, что и я вам вполне сочувствую. Я прочитал ваше сочинение. Герцог желал этого, и я был должен прочесть и исполниться радости за вас и скорби за себя... Да, в числе моих помощников нет ни одного, который имел бы такие ясные взгляды и умел бы так хорошо их отстаивать.

Фебуфис поклонился, а сановник пожал его руку и сказал, что если бы он не был великим художником, то он ни на кого бы смелее, чем на него, не решился указать как на способнейшего дипломата.

– Значит, я теперь могу выпустить написанное в свет?

– Нет. И это не нужно. Это само по себе так светло, что не нуждается во внешнем свете. Герцог на вашей стороне. Вам сейчас предстоит удовольствие увидеть, что именно его светлость начертал наверху ваших верноподданных слов своею собственною бес-трепетною рукой.

Произнеся с горделивым достоинством эти слова, сановник взял на колени малиновый бархатный портфель с золотым выпуклым вензелем и таким же золотым замком, помещенным в поле орденской звезды. Затем он бережно ввел внутрь портфеля длинную кисть своей старческой руки и еще бережнее извлек оттуда рукопись Фебуфиса, на верхнем краю которой шли три строки, написанные карандашом, довольно красивым, кругловатым почерком, с твердыми нажимами.

Положив бумагу на папку посреди стола, сановник поднялся с своего места и попросил художника сесть в кресло, а сам стал и поднял вверх лицо, как будто он готовился слушать лично ему отдаваемое распо-

ряжение герцога.

Фебуфис прочитал: «Одобряю и вполне согласен».

– Вот! – прошептал с придыханием и наклоняя голову, вельможа.

«Но», – продолжал Фебуфис.

Сановник опять поднял лицо и опять застыл в позе.

«Имея в виду всеобщее растление, которое теперь господствует в умах, нахожу несообразным говорить с этими людьми словами верноподданного убеждения».

Фебуфис вспыхнул и взглянул вопросительно на вельможу.

Тот тоже посмотрел на него выразительным взглядом и произнес:

– Он неотразим! – и затем протянул руку к бумаге с тем, чтобы взять и вложить ее снова бережно в малиновый портфель.

– Разве вы мне не возвратите и мою бумагу?

– Конечно, нет. С этим начертанием герцога она отныне составляет достояние истории... Она исторический документ, который переживет нас и будет храниться века в архиве, но вы, вместо этой бумаги, получите другую, и вот она.

Он дал художнику небольшой листок бристоля, на котором назначалось дать ему высокий чин и соединенные с ним потомственные права и имение в живо-

писном уголке герцогства.

Пока Фебуфис смотрел удивленными глазами на эти строки, значение которых ему казалось и невероятно, и непонятно, и, наконец, даже щекотливо и обидно, директор поправлял свой нос и, наконец, спросил:

– Мне кажется, что вы как будто удивляетесь.

– Да, граф, – ответил Фебуфис.

Граф качнул головою, улыбнулся и ответил:

– Да, это обыкновенно бывает с теми, кто не привык к характеру герцога. Редко кто знает, как он щедр и как он умеет награждать.

– Да, герцог щедр, но в числе его наград есть одна, которая, мне кажется, соединена с переменою подданства... Я уважаю герцога, но я никогда не просил об этом.

– Неужто?.. Впрочем, я до вещей внутреннего управления не касаюсь... на это у нас есть господин Шер. Правда, что у него в ведомстве все идет черт знает как, но зато по вдохновению... У нас это любят. Впрочем, если это неудобно, то вы сами можете говорить об этом с герцогом... вам завтра надо ему представиться и благодарить его светлость. Поцелуйте руку... Это так принято... Adieu!

Граф повернулся и послал рукою поцелуй Фебуфису.

Глава пятнадцатая

Фебуфис возвратился от обласкавшего его дипломата в самом дурном расположении духа: он переходил беспрестанно от угнетенности к бешенству и не знал, чему дать более хода. Дары, возвещенные ему маленькою записочкой на бристоле, были очень щедры, но при всем том он чувствовал, что потерял нечто более важное и существенное, чем то, что получает. Во всяком случае он трактован слишком ниже того, до чего положил себе предельною метой, и внутренний Шер имеет основание шутить над его «головным павлином», а граф внешних сношений может посылать ему на прощание детские поцелуи. Все они, в самом деле, значительные каналы, но крепче его наступают людям на ноги, меж тем как он колеблется и не умеет быть притворщиком, тогда как, в сущности, это неотразимо требуется. Он все дышит и томится. А потом стекло, сквозь которое он смотрит, как будто задышится и потемнеет, и ничего не станет видно, и тогда он примет решение, какого не думал. Так и теперь': простой и ясный смысл говорит ему, что он должен поблагодарить герцога сразу за все и сразу же от всего отказаться. Недаром дух его возмущается и он чувствует в себе полный достаток сил все это сделать, но как

только он начинает соображать: что для этого нужно разрушить и в чем повиниться, так его практический смысл угнетается целую массой представлений, для успокоения которых выходит из завешенного угла на ходулях софизм: «Не все ли равно, такой или другой деспотизм?.. И этот и те – все гнут – не парят, и сломят – не тужат... Этот по крайней мере... Да нет – все гадость, все несносно...»

Тут проходит какая-то полусонная глупость: один получает преимущество перед другим, потому что он один, а в существе потому, что с ним уже сделка сделана, а из одного закрома брать корм удобнее, чем собирать его по пустым токам. Головной павлин, дойдя досюда, складывает хвост и садится на насест.

Так это было и теперь. Фебуфис вздыхал, скреб грудь и даже, отправляясь утром другого дня в герцогский замок для принесения благодарности его светлости, еще не знал, что он сделает, но с ним был его практический гений, и органически в нем уже сложилось то, что надо делать.

Увидав его издали, герцог кивнул ему головою и, прервав речь с тем, с кем разговаривал, громко спросил:

– Ты доволен?

Это была пренеудобная форма для начала объяснений; художник почти столько же волею, сколько и

неволею уронил тихо, что он доволен, но осмелится нечто объяснить.

Ответ показался герцогу невнятен, и он переспросил:

– Что?!

– Я благодарю вашу светлость за ваши милости, но...

– То-то!

Художник было почтительно начал о своей отпове-ди, которую он желал сделать гласною, но герцог нахмурился и сказал:

– Оставь это: искусство, как и все, должно быть национально. А чтобы различные толки не портили дела, я велел принять меры, чтобы сюда не доходили никакие толки. Ты очень впечатлителен. Пора тебе перестать вести одинокую жизнь. Я тебе советую выбрать хорошую, добрую девушку по сердцу и жениться.

Фебуфис благодарил за милостивое внимание и заботливость, но не выразил желанья жениться.

Герцог сдвинул брови и сказал:

– А знаешь, мне это очень противно! Семейная жизнь всего лучше успокаивает, и ты это, наверное, увидишь на своем товарище, которого, кстати, поздравь от меня. Он сделал превосходный выбор и, вероятно, будет счастлив.

– Мой товарищ?.. О ком, ваша светлость, изволите говорить?

– Ну, разумеется, о маленьком Пике. Чтобы не забыть – о нем теперь надо лучше позаботиться, так как он женится, то я велю дать ему должность с двойным окладом. Его будущая жена – дочь очень достойного человека и моего верного слуги. Храбр... и глуп, как сто тысяч братьев. Будто ты ничего об этом не знаешь?

– Ничего, ваша светлость.

– Маленький Пик, значит, в любовных делах осторожен. Это, впрочем, так и следует: девушка очень молода и наивна, как настоящая монастырка, но он очень скоро победил ее застенчивость. Представь, он нашел способ разъяснить ей, чем отличается букан от букашки... За это его тук на крюк! Это довольно смешной случай, но пусть он сам тебе о нем расскажет. Кстати, он зовет ее «прелестная Пеллегрина». Ей это идет... Ты ее не видал?

– Нет.

– Очень интересна: она в миньонном роде.

Фебуфис выслушал новость о Пике как бы в забытьи: его не интересовало теперь ничто, даже и то, что и с самим с ним происходило: все ему представлялось тяжелым сновидением, от которого он хотел бы отряхнуться, только это казалось невозможным. Он

чувствовал, что как будто ушел далеко в какой-то дремучий лес, из которого не найти выхода. Да и куда выходить? И зачем? Здесь он все-таки значительная величина, хоть по герцогскому распоряжению, а во всяком другом месте он станет наравне со всеми судим свободным судом критики, и... он знает, какое она отведет ему место... Тяжкое унижение! Здесь он ничего этого не испытает... Сюда ничто ему неприятное не проникнет – против этого ведено принять меры. Он в этом не виноват, а между тем ему от этого спокойно, и он лег на диван, покрыл ноги пледом и сладко заснул до сумерок, когда Пик стал весело будить его к обеду.

Фебуфис встал несколько мрачный и серьезный, молчал в продолжение всего стола, но при конце обеда прямо, без всяких предисловий, спросил Пика:

– Я слышал, ты женишься?

– Кто тебе это сказал?

– Герцог.

– На ком же, смею спросить?

– Ну, что за глупость: будто ты не знаешь.

– До сих пор не знаю.

– На какой-то милой девушке, невинной монастырке, которую ты прозвал «прелестною Пеллегриной». Зачем ты покорил ее сердце и научил ее, как узнавать букана от букашки?

Пик расхохотался.

– И герцог это знает?

– Он говорил мне об этом.

– Боже мой, какая противность! Чего он только не знает? Кажется, все, кроме нужд своего народа!

– Так это правда или нет?

– Что я женюсь?.. Конечно, неправда!

И Пик опять расхохотался. Он, такая маленькая крошка, чья незаметная фигура во всех возбуждала смех и шутливость, как он мог быть любим милою девушкой, которая ему чрезвычайно нравилась? И он женится! Это самому ему только и могло казаться слишком грубою и слишком неотделанною насмешкой, но тем не менее через несколько дней он сказал Фебуфису:

– Знаешь, я в самом деле, кажется, женюсь!

– Отчего же тебе это вдруг стало казаться?

– Оттого, что я сделал Пеллегриночке предложение, и объяснился с ее отцом, и от обоих от них получил согласие.

– Вот те черт! В таком случае я поздравляю тебя, – ты, значит, наверное женишься.

– Да, вообрази, женюсь! Это случилось как-то внезапно... У нее есть кузен, молодой офицер, мерзкий шалун, который выдал мою тайну, и я был должен объяснить мои намерения... Конечно, не бог знает что: мы с нею просто ходили и гуляли, но этот досто-

почтенный старик, ее отец... он наивен так же, как сама Пеллегрина, и это не удивительно, потому что он женился на матери Пеллегрини, когда ему было всего двадцать лет, и его покойная жена держала его в строгих руках до самой смерти... Она умерла год тому назад.

– Он, верно, рад, что она умерла.

– М...ну – не знаю. Его племянник говорил, будто она ставила его на колени, и за то старичок теперь желает будто компенсации и, как только выдаст дочь замуж, так сам опять женится. Но этому хотят помешать.

Фебуфис уловил вполне ясно только последнее слово и повторил вяло:

– Жениться! Это значительный ресурс при большой скуке.

– Так ты против женитьбы?

– Как можно! Особенно при настоящем случае, когда кое-что может перепасть и на мою холостяцкую долю.

– Да ведь, признайся, и тебе здесь скучно... Ты скучаешь?

– Очень скучаю, мой милый Пик, и потому я был бы очень счастлив, если бы ты и твоя будущая жена не отогнали меня, старика, от своего обеденного стола и от вашей вечерней лампы. А уж потом я буду желать

вам спокойной ночи.

– О, конечно, это так и будет! Это непременно так и будет! Мы с тобой не расстанемся и будем жить все вместе. Мы уже об этом говорили. Пеллегриночка тебя очень почитает. Она пренаивное дитя: она сказала, что она меня «любит», а тебя «уважает», и сейчас же вскрикнула: «Ах, боже мой! я не знаю, что больше!» Я ей сказал, что уважение значит больше, потому что оно заслуживается, и указал на ее чувства к отцу, но она пренаивно замахала руками и говорит: «Что вы, что вы, я папу и не люблю и не уважаю!» Я удивился и говорю: «За что же?» А она говорит: «Я к нему никак не могу привыкнуть». – «В каком смысле?» – «Я не могу переносить, для чего от него бобковою мазью пахнет». – «Какие пустяки!» – «Нет, говорит, это не пустяки; мать тоже никак не могла привыкнуть: она правду ему говорила, что он „не мужчина“. – „Что же он такое?“ – „Мама его называла: губка! фуй!“ – „Чем же это порок?“ – „Да фуй!.. мне о нем стыдно думать!“ Ты вообрази себе эту свою рода быстроту и бойкость в нераздельном слитии с монастырскою наивностью... Это что-то детское, что-то как будто игрушечное и чертопхайское... и, главное, эти неожиданные сюрпризы и переходы, начиная от букана до мужчины и до не-мужчины... Ведь все это видеть, все это самому вызвать и наблюдать все эти

переходы...

– Что и говорить! – перебил Фебуфис. – Во всем этом, без сомнения, чувствуется биение жизненного пульса.

– Да, вот именно, биение жизненного пульса.

И ему было дано вволю испытать на себе в разной степени биение жизненного пульса. Одно из высших удовольствий в этом роде он узнал в самый блаженный миг, когда после свадебных церемоний остался вдвоем с прелестною Пеллегриной. Случай был такой, что Пик совершенно потерялся, убежал в холодный зал и, прислонясь лбом к покрытому изморозью оконному стеклу, проплакал всю ночь. В этом же положении спасла его утром его молоденькая жена: она подошла к нему с своим невинным детским взглядом в утреннем капоте новобрачной дамы, положила ему на плечи свои миниатюрные ручки и, повернув к себе этими ручками его лицо, сказала:

– Мой друг, ведь я не раздевалась...

– Мне все равно! – ответил спешно Пик.

– Нет... не все равно.

У Пика кипела досада, и он ответил:

– Я говорю вам: это мне все равно!

– А я... я себе этого даже и объяснить не могу...

– Себе!

– Да.

– Даже себе не можете объяснить?!

– Вот именно!

– Это становится интересно.

– Я помню одно, что я дежурила в комнате у начальницы, и он неслышно взошел по мягким коврам, и... он взял меня очень сильно за пояс...

– Черт бы вас взял с ним вместе!

– Но я не раздевалась и только была совсем измучена... и я больше ничего не знаю... я ничего не помню...

– Не помните!

– Да, я затрепетала...

– Затрепетала!

– Да, затрепетала... мы так воспитаны.

– Вы очень оригинально воспитаны... Ничего не понимаете...

– Да... не понимала, а теперь мне дурно. Пик хотел ее оттолкнуть, но вместо того принял жену под руки, отвел ее в спальню, помог ей раздеться и сказал:

– Раз все было так, то это предается забвению. Она в полузабытьи, с глазами, закрытыми веками, слабо пожала его руку»

– Но только мы уедем отсюда. Здесь им везде уж слишком полно.

– Как ты хочешь, букан, – прошептали милые, детские уста Пеллегрини.

Пик улыбнулся и стал целовать их и повторял:

– Мы от него уедем, уедем, букашка!

– Да, уедем, буканчик, – отвечала Пеллегрина, – только не надо ничем тревожить папу.

Пик все позабыл и растаял в объятиях своей наивной жены.

Букан и букашка были счастливы. Равновесие в их жизни нарушалось только одним сторонним обстоятельством: отец Пеллегрини, с двадцати лет состоявший при своем семействе, с выходом дочери замуж вдруг заскучал и начал страстно молиться богу, но он совсем не обнаруживал стремления жениться, а показал другую удивительную слабость: он поддался влиянию своего племянника и с особенным удовольствием начал искать веселой компании; чего он не успел сделать в юности, то все хотел восполнить теперь: он завил на голове остаток волос, купил трубку с дамским портретом, стал пить вино и начал ездить смотреть, как танцуют веселые женщины. Спустя малое время он не выдержал и сам принял участие в танцах.

По его значению в военном мире, внутренний Шердовел об этом до сведения герцога, а герцог, встретя его в парке, спросил:

– Ты танцуешь?

– Виноват, – отвечал генерал.

– Отчего ты это вздумал?

– Рано женился и ничего не испытал в молодости, ваша светлость.

– То-то! Смотри, чтоб этого не было.

Почтенный воин дал слово своему повелителю, но не в силах был этого слова выдержать: молодая компания спать увлекла его в опасное сообщество, где он нарушил свое обещание: он пил и танцевал, и, делая ронд в фигуре, вдруг увидал перед собою внутренне-го Шера... Генерал сейчас же упал и переломил себе хребет, а когда пришел на мгновение в себя и сообразил, что об этом узнает герцог, то тотчас же тут и умер на месте преступления. Внутренний Шер тихо перенес героя ночью в его жилище и утром доложил герцогу. Герцог слушал начало доклада в гневе, но потом был тронут поступком генерала и сказал:

– Он хорошо кончил!

Затем вышло распоряжение, чтобы молодых людей посадить под арест, танцорок высечь, а усопшему сделать погребальный церемониал по его заслугам и произнести над его гробом глубоко прочувствованное слово.

Все это было исполнено, и герцог сам был тут, сам окинул взором церемонию, сам выслушал слово и даже приткнулся рукою ко гробу некогда храброго человека, а потом с чувством пожал руку его дочери. Факт этот целиком перешел в историю народа.

Глава шестнадцатая

Траур, который надела по отце Пеллегрину, до того шел к ее грациозной, легкой фигурке и пепельной головке, что Фебуфис, пребывавший долгое время в тяжелой и беспросветной хандре, увидав ее, просветлел и сказал:

– Знаете ли, я очень хочу написать ваш портрет.

Пеллегрину, как женщина, с удовольствием чувствовала обаяние, которое ее красота произвела на знаменитого, по общему мнению, друга ее мужа, и ничего не имела против осуществления его артистического желания. Пик одобрял это еще более.

– Это тебе пришла счастливейшая мысль, – восклицал он, – это обоих вас займет, и тебя и ее заставит прогнать от себя тяжелые мысли.

Портрет был начат во весь рост на большом холсте, где нашли место для своего расположения все любимые вещи в будуаре Миньоны.

Фебуфис после продолжительной апатии и бездействия взялся за работу с большим рвением, и портрет Пеллегрини обещал превзойти портрет, написанный Фебуфисом с герцогини для кабинета герцога. Это обстоятельство заключало в себе даже нечто щекотливое и заставляло Фебуфиса производить работу не в

мастерской, а в будуаре Пеллегрини. Он приходил к ней в своем рабочем легком костюме – в туфлях, сереньких широких панталонах и коричневой бархатной куртке. Она позировала перед ним стоя и, утомясь, отдыхала на широкой оттоманке, а он переносил ее девственные черты на полотно и нечто занес нечаянно в свое сердце, начавшее гнать кровь в присутствии жены друга с увеличенной силой. Он стал неровен и нервен, – она это, кажется, замечала, но оставалась во всегдашнем своем беспечном, младенческом настроении, и даже когда он однажды сказал ей, что не может глядеть на нее издали, она и тогда промолчала. Но уж тогда он бросил кисть и палитру и, кинувшись к ней, обнял ее колени и овладел ею так бурно, что она совсем потерялась, закрыла лицо руками и прошептала не раз, а два раза: – Бога ради, бога ради!

Он, кажется, не разобрал, как это следовало понять, и последствия этого недоразумения совершенно не отвечали программе сеанса.

Дела могли идти таким порядком очень долго, но раз Пик вошел домой не в счастливый час и не в урочное время и услышал это же странно произнесенное «бога ради!» Он понял это не так, как следовало: ему показалось, что его жене дурно, и он бросился к ней на помощь, но, спешно войдя в комнату, он застал Пеллегрину и Фебуфиса сидящими на диване, слиш-

ком тихими и в слишком далеком друг от друга расстоянии.

Он посмотрел на них, они на него, и все трое не сказали друг другу ни слова.

И Пик стоял, а те двое продолжали сидеть друг от друга слишком далеко, в противоположных концах дивана, и везде, по всей комнате, слышно было, как у них у всех у трех в груди бьются сердца, а Пик прошипел: «Как все глупо!» – и вышел вон, ошеломленный, быть может, одною мечтой своего воображения, но зато он сию минуту опомнился и, сделав два шага по ковру, покрывавшему пол соседней гостиной, остановился. Его так колыхало, что он схватился одною рукой за мебель, а другою за сердце... Вокруг была несколько минут жуткая тишина, и только потом до слуха Пика долетел тихий шепот:

– Для чего вам было садиться так далеко?

Это говорила букашка, и говорила с укоризною... Фебуфис в роли букана был сильнее потерян и молчал.

Ее это еще больше рассердило. Пик слышал, как она встала с дивана и подошла к столику и как обручальное колечко на миниатюрном пальце ее руки тихо звякнуло о граненый флакон с одеколоном. Пик узнавал ее по всем этим мелким приметам.

Она, очевидно, входила в себя и держала себя на

уровне своих привычек, между тем как ее сообщник был недвижим и едва мог произнести:

– Было бы все равно.

– Совсем не равно, – отвечала наставительно Пеллегрина, уже повышая тон до полуголоса. – Люди, которые просто разговаривают, никогда так далеко не сидят.

Он тоже хотел ободриться и с улыбкою, слышною в шепоте, спросил:

– Здесь это не принято?

Но она совсем уже полным голосом повторила:

– Не принято!.. Гораздо важнее – это не то, что здесь «не принято», а то, что это везде неестественно!

И с этим она поставила на уборный стол флакон и, вероятно, хотела идти вслед за мужем в те самые двери, в которые он вышел, но Пик предупредил ее: он бросился вперед, схватил в передней свой плащ и шляпу и выбежал на улицу. На дворе уже темнело и лил проливной дождь. Пик ничего этого не замечал; он шел и свистал, останавливаясь у углов, не зная, за который из них поворотить, и потом опять шел и свистал, и вдруг расхохотался.

– И это я ей говорил. Я ей объяснял, что букашка и что букан! И это она уверяла меня, как она не понимала, что с нею делают, и затрепетала! И это я писал

Маку о здешних женщинах, как они наивны!.. Что могу я понять в этом омуте, в этой поголовной лжи?.. Что я могу понять даже теперь? Впрочем, теперь я понимаю то, что я не хочу здесь оставаться ни дня, ни часа, ни минуты!

И с этих пор он исчез бесследно.

Внутренний Шер доложил герцогу об исчезновении Пика в числе обыкновенных полицейских событий. Все, что предшествовало этому загадочному исчезновению и что было его настоящей причиной, осталось для всех посторонних неизвестным. Когда же все розыски Пика в пределах герцогства оказались безуспешными, герцог призвал Фебуфиса и спросил:

– Что ты знаешь о своем товарище?

– Ничего, ваша светлость.

– А в каком положении его жена? Она, может быть, уже вдова, и у нее нет права на пенсию?

– Если, ваша светлость, повелите, – вкрадчиво вставил Шер.

– Да, – отвечал герцог, – я повелеваю. И, кстати, пусть ее тоже определяют воспитательницей там, где она сама училась. Это будет приятно герцогине.

Глава семнадцатая

Исчезновение Пика, однако, чувствительно ударило по сердцу Фебуфиса, и Пеллегрина перестала ему больше нравиться, а притом совершилось еще другое. Сопровождая герцога, он посетил один богатый торговый город, в ратуше которого им был дан роскошный бал. На этом бале, в числе многих красивых женщин, появилась молодая девушка классически строгой и поразительной красоты. Ее звали Гелия. Она была дочь местного богатого негоцианта, имевшего дела со всею Европой. Красота ее бросилась всем в глаза и сразу Фебуфиса пленила. Это заметил герцог и тут же спросил его:

– Что ты о ней скажешь?

– Ваша светлость, – отвечал Фебуфис, – о ней можно сказать только, как говорят на востоке: «Глаз смертного не может видеть такое совершенство без готовности умереть за него».

Герцогу понравилась восточная фраза: он, почитавший себя покровителем веры, сам любил иногда пустить в ход что-нибудь в библейском роде, и в данном случае он тоже скомпоновал что мог: он похлопал Фебуфиса по плечу и сказал:

– Эге, смертный, я вижу, ты еси уже уязвлен сею

красою. Бойся заболеть, но, впрочем, при мне и сия болезнь может оборотиться не к смерти, а к славе... сумей только ей понравиться.

– Ваша светлость, смертный не дерзает и думать о том, чтобы понравиться такой красавице.

– Прекрасно сказано: может быть, ей даже и нельзя понравиться, потому что она, как единственная дочь богатого отца, избалована ихватила хваленой цивилизации за границу. Говорят, она холодна, как Диана.

– Вот изволите видеть!

– Да, да, – Диана, и даже ходит одна с огромным псом. И притом, она умна... и даже, кажется, что-то пишет... И вот именно об искусстве... Она тоже живописец и училась у Каульбаха. Но, главное, отец в ней не слышит души, и она очень своевольна. Но, надеюсь, я здесь хозяин и могу кое-что сделать. Хочешь, я ее за тебя посватаю?

Фебуфис, сложив руки на груди, с улыбкою поклонился герцогу и произнес:

– Пощадите, ваша светлость!

– А вот же посватаю и высватаю: это дело мое, а ты знай сам средство, как с нею обходиться, – и с этим он прямо с места направился к отцу красавицы, взял его под руку в сторону и стал просить у него руки дочери для жениха, которого он рекомендует.

Фебуфис был как на иголках, но около него был Шер; он его успокоивал и шептал ему:

– Ничего не выйдет; у ее отца, у этого старого Фрица, в голове преогромный павлин: он собит дочке мужа миллионера или маркграфа.

Отец красавицы, которую звали Гелия, был сытый и рослый бюргер с надменным лицом, напоминающим лицо герцога Веллингтона, слыл за страшного богача и жил роскошно. Однако, обращаясь в стороне от дворских обычаев и притом в торговом кружке, в котором он имел первенствующее значение, он не отличался находчивостью и был взят врасплох; он слышал, что таким сватам не отказывают, и не успел сказать ни да, ни нет, как «сват» уже поманул к себе жениха. Это обещало дрянную игру: два головные павлина сшибались: отец отца Фебуфиса был приказчиком у отца старого Фрица, Фриц не мог желать себе такого зятя, но тем не менее сухое и даже немножко надменное согласие было дано. Герцог поднял бокал за здоровье жениха и невесты, и они были помолвлены. Негоцианты порта были этим удивлены и обижены, – на всех лицах было заметно неудовольствие, а Шер, принеся свое поздравление отцу невесты, отошел в амбразуру окна и, достав из кармана агенду, написал *nota bene*, по которой тайной агентуре следовало пошарить везде, где возможно: все ли благо-

получно в делах почитаемого в миллионерах Фрица? Его уступчивость казалась Шеру подозрительной. Девушка не протестовала нимало, но с первых же минут показала своему жениху холодное презрение, а тем не менее вскоре же с царственной пышностью была отпразднована их свадьба. Невесту, которая все продолжала держать себя в строгом чине, подвел к алтарю сам герцог и оставался первым гостем на пире, где присутствовала вся знать столицы, но присутствовала также незримо и Немезида...

Негоциант ничего не определил дочери, но можно было думать, что он даст большое приданое, а герцог, который «любил награждать», конечно, доставит многосторонние другие выгоды, – вышло, однако, так, что все это было вдруг испорчено на первых порах. Недобрым предвестием всего было письмо, которое Фебуфис нашел у себя на столе в то время, когда привез к себе молодую супругу и оставил ее на короткое время в ее художественно отделанной половине. Письмо было написано какою-то злою и мстительною женщиной: в нем извещали Фебуфиса, что он великолепно надут, что он получил жену с большими претензиями и без всяких средств; что тесть его, слывущий за миллионера, на самом деле готовый банкрот, ищущий спасения в дорогом ценимой им уступке; что брак этот со стороны Гелии есть жертва для спасения от-

ца, а Фебуфис от всего этого получит право ужинать всегда без последнего блюда.

Фебуфису показалось, что это писала Пеллегринна. Он знал, что букашка чертовски скрытна, ловка и мстительна, а притом она, кажется, успела стать слишком знакома с внутренним Шером и умела узнавать у него кое-что из его ежедневных упражнений в подпечатывании и чтении писем, вверяемых почтовой пересылке.

Маленькая изящная Пеллегринна могла знать тайности, но ей также ничто не мешало и лгать и клеветать на людей. Эта женщина – живое и мерзкое воспоминание, при котором является укол в сердце и мелькает перед глазами тень маленького Пика.

Теперь это случилось как нельзя больше не вовремя. Теперь это надо решительно прочь.

Он наскоро сунул смутившее его на минуту письмо в карман изящного спального жакета из мягкой восточной материи и в легких восточных туфлях спустился из мастерской вниз к жене, спальня и уборная которой были устроены в тех самых покоях, которые занимал в этом казенном доме Пик и его Пеллегринна. Спальня Гелии приходилась именно в той самой комнате, где Фебуфис писал портрет с Пеллегринны и скомпрометировал ее, севши слишком далеко от нее на диване.

Это все опять ему ненадлежаще вспомнилось, когда он с изящною ночною лампочкой в руке проходил по мягкому ковру той комнаты, где стоял Пик, держась рукою за сердце и выслушивая из собственных уст жены сознание в ее поступке и в ее чертовской опытности и органической любви к обману.

Фебуфис тряхнул своими поредевшими кудрями, как бы отгоняя воспоминания, и положил руку на массивную бронзовую фигуру дракона, служившую ручкою двери в женину спальню.

Сию минуту он увидит свою великолепную Гелию...

Сердце его усиленно билось, но дверь не подавалась... она была заперта. Быть может, это ему так только кажется; быть может, он неловко берется. Он надавил ручку сильнее и теперь несомненно убедился, что дверь заперта изнутри на ключ. Значит, полученное неизвестным путем письмо предупреждало его кое о чем верно... свадебный пир его кончен, и он, как дитя, оставлен «без последнего блюда». Он был в нерешимости, что ему делать: встряхнуть дверь и звать жену так, чтобы она должна была откликнуться, или выдержать себя и на первых же порах наказать ее ни с чем несообразный каприз пренебрежительною холодностью?

Первое угрожало шумом и скандалом, который мог дойти до ушей прислуги и сделать его смешным в пе-

редней, на кухне и в мелочных лавках, откуда потом придет слух и в гостиные... Второе... еще может к чему-нибудь вывести. Он предпочел второе и возвратился спать в свою мастерскую.

Глава восемнадцатая

Утро второго дня было для Фебуфиса тяжело неимоверно. Начало семейной жизни его не радовало, и он встал, ощущая никогда ему до сих пор не известный страх перед женщиной... прекрасною, строгою и чертовски холодною женщиной, избалованности и капризам которой, очевидно, нет меры, точно так же, как не видно меры ее упорству и самообладанию, которых совсем нет у Фебуфиса.

Но обстоятельства требовали, чтобы он показал некоторое самообладание, и он решился сделать над собою твердые усилия. Он сошел в столовую, где имел привычку пить свой утренний кофе, и, к удивлению своему, застал здесь за столом совершенно одетую жену, перед которой была английская книга, а у ног ее лежала ее огромная черная собака Рапо. Супруги повидались холодно, как знакомые. Гелия не обнаружила ни малейшего замешательства и даже не дала заметить мужу, что она его некоторое время ожидала за кофе. Он хотел разразиться, но вместо того извинился, сделал несколько незначительных вопросов и несколько раз посмотрел на черного Рапо. Его занимало: когда и кто привел в его дом эту собаку, имевшую чрезвычайную привязанность к Гелии, а

к нему возымевшую с первой встречи глухое личное неудовольствие, способное при всяком удобном поводе перейти в открытую неприязненность? Фебуфис даже не вытерпел и полюбопытствовал:

– Когда сюда перебрался Рапо?

Гелия отвечала, что Рапо пришел вчера с ее верною служанкой.

«Рапо и верная служанка!.. Недурненькие штучки для начала», – подумал Фебуфис и затем спросил:

– А где вы нашли для него здесь помещение?

– Его помещение, как всегда, при мне.

– Нет, где он спал?

– На ковре, в когах у моей постели.

«Какова штучка!» – подумал Фебуфис и встал, чтобы приветствовать двух близких родных жены, приехавших сделать ей обычный визит на другое утро после брака.

Фебуфис был рад их приходу, чтобы избавиться от сообщества, в котором ему становилось тяжело, и в то же время показать первое проявление и своего равнодушия и своего самообладания.

Он мало поговорил и, встав, направился к себе в мастерскую; но при повороте на ковре наткнулся на Рапо и чуть не упал.

Он видел, что гости и его жена сделали над собою усилие, чтобы не засмеяться его полету и смешному

взмаху, который он сделал руками.

Один Рапо поглядел на него серьезно и грустно, без унижительной иронии, и, звучно вздохнув из глубины своей собачьей души, точно хотел сказать: «Ах, уйди, тебе здесь не место!»

Фебуфис с своей стороны подумал: «Я эту собаку непременно убью», – и затем он пришел к себе в мастерскую, одновременно чувствуя и бешенство и неотразимую потребность удерживаться, и вдруг он схватил кисти и начал работать.

С этих пор мастерская, этажом выше жилья, сделалась его постоянным приютом. Он точно вышел из дому без спора и без боя, сам не заметив, как это случилось.

Он делал с женой визиты; был с нею на завтраке в замке у герцога, причем герцог, поздравляя Гелию, поцеловал у ней руку в присутствии герцогини. Потом у них был родственный обед, за которым Фебуфис убедился, что отец его жены не даст дочери ничего, а что все прочие ее родственники совсем даже и не намерены почитать его за замечательного человека. Они нимало не скрывают, что смотрят на него просто как на герцогского фаворита, до которого они снизошли случайно, по обстоятельствам, о которых он поймет в свое время и для которых обязан будет поработать. Вообще со временем ему скажут, что делать. За обе-

дом последовал бал, на котором в блестящей свите прошел герцог, и опять уже не раз, а два раза поцеловал руку Гелии, – здороваясь и прощаясь, – и сидел с ней одной пять минут в уединенной маленькой гостиной, из которой, по принятому этикету, в эти минуты все вышли. Потом он подарил, по старине, вниманием и Фебуфиса. Он спросил его:

– Счастлив?

Фебуфис поблагодарил за внимание.

– То-то! – пошутил герцог и, улыбаясь, шепнул ему на ухо: – Будь терпелив и уповай на бога.

«Что за дьявольщина! – подумал, провожая герцога, Фебуфис. – Во что, в самом деле, он не вмешивается, чего он только не знает и о чем он не говорит!.. Как его много! Как его везде чертовски много!»

И вдруг он остановился на месте и зашатался. Он вдруг ясно увидел, что его жена – любовница герцога.

С Фебуфисом сделался обморок, и довольно странный обморок, в котором продолжалось сознание.

Глава девятнадцатая

Этого, может быть, только не видят другие, или, наоборот, это видели и видят все, кроме его. Он, настоящий, форменный муж, который узнает о своем позоре самый последний и потом смиряется и сносит это из ложного стыда или выгод, но вот тут уж ошибка, – этого одного уж ни за что не будет с Фебуфисом. Этого он не снесет ни за какие выгоды в мире. Он это разъяснит и разрубит все сейчас, сию минуту. И все условия ему благоприятствовали – обморок сокрыл от него разъезд гостей и окончание бала. Придя окончательно в чувство, Фебуфис увидел себя в полумраке, на кушетке, в будуаре жены. Сюда перенесли его гости, при которых он упал в дурноте, проводивши герцога. Гелия стояла перед ним, возле нее была ее «верная служанка», и недалеко от нее, глядя ей в глаза, лежал не менее верный Рапо. Огни во всех апартаментах были потушены, и в доме была тишина; сквозь складки оконных занавесок виднелась звезда, меркнувшая в предрассветной синеве неба.

Фебуфис остановил взгляд на служанке и сказал:
– Зачем она здесь?

Гелия сделала легкое движение головой, и женщина вышла.

– Могу ли я сделать вам один вопрос? – сказал Фебуфис.

– Конечно, – отвечала Гелия.

– О чем с вами говорил наедине герцог? Гелия сдвинула брови и покраснела. Фебуфис мгновенно сорвался с места и вскрикнул:

– Я хочу это знать!

– Он говорил со мной об одном деле моего отца.

– О каком деле?

– Я не должна этого никому сказать.

– Это неправда!.., это ложь!.. Вы его любовница! Краска мгновенно сбежала с лица Гелии и заменилась болезненной бледностью.

– Да, – продолжал Фебуфис, – я вас поймал... я вас открыл, я теперь понимаю ваше поведение, и вот... вот...

– Что вы хотите?

– Ничего!.. От вас ничего... Поняли?

– Поняла.

– Прекрасно!.. Мне не нужна герцогская любовница!

– Да?

– Да. Вы должны были по крайней мере раньше мне сознаться в этом.

– Идите ж вон отсюда!.. Сейчас же вон, или... эта собака перекусит вам горло!

– Я вон... я?!

– Да, вы... Вон, сын приказчика моего деда!

– О, – протянул Фебуфис, в голове которого его собственный павлин вдруг распустил все свои перья, – так вы вот как на меня смотрите! Я вам покажу, кто я!

И он, задыхаясь и колеблясь от гнева на ногах, пошел в свою мастерскую, но он не лег спать, – его пожирала простая физическая жажда мщения, – он сошел опять вниз, взял из буфета две бутылки шампанского и обе их выпил, во все время беспрестанно волнуясь и то так, то иначе соображая свое положение. Он непременно хотел что-то сделать, и не знал, что ему делать. В этом уплыл остаток ночи, и в окнах серел рассвет непогожего дня. Фебуфис стал приходить в другое, мирное настроение: он чувствовал теперь потребность сказать жене – холодно и не роняя своего достоинства, – что они навсегда будут чужды друг другу, и решить сообща с нею, как им держать себя, пока они найдут наименее скандальный выход. Это будет холодное, деловое объяснение, но его надо сделать немедленно, сейчас, чтобы ни он, ни она не предприняли ничего несоответственного порознь и чтобы с сердца разом скорее сбросить то, что так тяжело и гадко.

Но двери ее спальни, конечно, опять уже заперты, и если она их опять не отопрет?.. Ему надо было про-

сто, уходя, вынуть ключ, но он не догадался. Но он ее заставит отпереться. Он не будет стучать и ломиться, как ревнивый портной, а он ее убедит... он ее образумит. Так или иначе, она ему отперет и его выслушает... А иначе... он сделает черт знает что!

Он выпил еще залпом, один за другим, два стакана шампанского, взял с камина флакон со скипидаром и стал спускаться с лестницы. Он не чувствовал себя пьяным, и в самом деле он не был пьян. Он ни скоро, ни тихо подошел к жениной спальне, которая действительно оказалась запертою, спокойно тронул ручку двери и произнес спокойным голосом:

– Я прошу вас меня извинить и не отказать мне выйти ко мне в эту комнату: мы должны сейчас объясниться. Гелия не отвечала.

– Я хочу знать, слышите ли вы, что я вам говорю?

– Слышу.

– Оденьтесь и выйдите. Это важно для моей и вашей жизни.

Молчание.

– Я вам даю слово, что вы не услышите ни одного грубого слова. Не бойтесь меня.

Ему слышалось, что она как будто ходит и что-то делает, но на его слова не отвечает.

– Я вам даю слово, что вам меня не должно бояться. Она ответила: «я не боюсь», и опять слышались

ее шаги и движение.

«Она ждет служанку и хочет уйти другим ходом!» Это его взбесило.

– Вы не отворите?! – вскричал он, после нескольких слов, оставленных ею без ответа. Гелия снова молчала.

– А, в таком случае я сейчас сожгу вас в вашем затворе.

С этим он плеснул скипидаром на портьеры и зажег их и в полном безумии бросился к другому выходу из спальни, но в это же мгновение осажденная повернула ключ и, открыв двери, предстала в пылающей раме горящих портьер. Она была в мантилье и в платье, с головой, покрытой кружевной косынкой. Этого Фебуфис не ожидал и вскрикнул:

– Куда вы?

Она только смерила его глазами и сделала шаг вперед.

Тогда он, забыв все, кинулся, чтобы остановить ее, но она на все это была готова: она вынула из-под мантильи руку и подняла прямо против его лица маленький щегольский пистолет.

– Я этого не боюсь! – вскричал Фебуфис.

– А я требую только, чтобы вы до меня не касались.

Из отуманенной бешенством и, может быть, отчасти вином головы Фебуфиса выскочил сразу весь

план его мирных и благородных действий. Не успела его жена пройти через залу, как он догнал ее у второй двери и схватил ее сзади за мантилью. Гелия ударилась виском о резной шпингалет и, вскрикнув от боли, рванулась и убежала... В руках Фебуфиса осталась только ее мантилья. Жена ушла... стало пусто: на полу лежала большая золотая шпилька, вершка в четыре длиной, какие носили по тогдашней моде, и на узорчатом шпингалете двери веялись, тихо колеблясь, несколько длинных и тонких шелковистых черных волос.

Гелия выбежала из мужнина дома, как из разбойничьего вертепа, в одном платье, и безотчетно пошла, как некогда шел куда-то обиженный Пик. Она не замечала ни окружавшей ее стужи, ни ветра, который трепал ее прекрасные волосы и бил в ее красивое негодующее лицо мелкими искрами леденистого снега.

В уме Гелии было идти прямо к герцогу и сказать ему:

– Защитите меня от обиды и, если вы рыцарь, – как о вас говорят, – скажите, что я не была вашей любовницей, и отметите за мою честь.

Она верила, что она должна и может это сказать, что она это непременно скажет и что он защитит ее, как рыцарь.

Глава двадцатая

Не давая себе отчета, хорошо или дурно она думает, Гелия очутилась у герцогского замка. Выросши в торговом городе, жившем более во внешних политических сношениях с Европой, чем с своим правительственным центром, Гелия имела очень недостаточные понятия о том, как можно и как нельзя говорить с герцогом; но это и послужило ей в пользу, или, быть может, во вред, как мы увидим потом, при развитии нашего повествования.

В замке и вокруг замка герцога жизнь начиналась по-военному, то есть очень рано, и в тот ранний час, когда Гелия показалась у подъезда герцога, там уже стояла запряженная для него лошадь.

Гелия пошла прямо к подъезду и стала у колонны. Дежуривший у подъезда офицер настоятельно просил ее удалиться и особенно указал ей на сопровождавшую ее собаку.

Гелия слабо понимала речь того языка, на котором говорили в столице герцогства, но поняла указания на Рапо и нетерпеливо взглянула на него глазами.

Тяжелый и сильный зверь поднялся и пошел прочь за угол главной площадки замка.

— И вы сами тоже должны удалиться, — сказал офи-

цар; но прежде чем он успел настоять на этом, массивная дверь быстро распахнулась, и появился герцог. Гелия к нему бросилась, как дитя, и в то же время как уверенная в своем достоинстве женщина.

Герцог остановился: ветер сильно перебивал ее лепет.

Она говорила, но он не понимал ее и... не узнавал ее.

Она в отчаянии закрыла лицо руками.

Герцог еще отодвинулся и приложил ладонь над глазами.

Гелия упала на колени и на этот раз твердо сказала:

– Молю вас, спасите!

– Что нужно? – спросил грозно герцог.

И в этот же миг он узнал Гелию и ужаснулся.

– Это вы, Гелия! Что с вами случилось? И он подался к ней ближе и закрыл ее от ветра и снега полою своего плаща.

– Ваша светлость! – простонала она, – была ли я вашей любовницей? – и, зарыдав, она не могла продолжать далее.

Герцог заметил, что она шатается, и подхватил ее под руки.

– Кто смел сказать это?

– Вы меня выдали замуж, – произнесла Гелия.

– Ну да!.. Что ж дальше?

Гелия протянула к герцогу руку, в которой был пистолет, и сказала:

– Прикажите скорее взять меня в тюрьму.

– За что?

– Я сейчас хотела убить моего мужа.

– За что? Она плакала.

– Говорите скорее, за что?

– Он хотел меня сжечь, – он обращается со мною как разбойник!

И, произнося каждое слово, она колебалась на ногах и вдруг совсем пошатнулась в сторону.

Герцог плотнее прикрыл ее плащом и сказал:

– Смотрите... правда ли это?

Вместо ответа Гелия взяла холодной рукой руку герцога и приблизила ее к своей голове.

На белой замшевой перчатке герцога остались капля крови и несколько глянцевиных и тонких черных волос.

Из груди его вырвался звук ужаса и негодования.

– Злодей! – вскричал герцог, – он будет страшно наказан!

С этими словами, задыхаясь и сверкая глазами, разгневанный герцог всхлипнул и потом отечески обнял молодую красавицу и, почувствовав, что она падает, поднял ее, как дитя, на руки, поцеловал в темя и с этою ношей возвратился назад в двери замка.

Впервые опубликовано – журнал «Русская мысль», 1890.